

Михаил Салтыков-Щедрин

Мелочи жизни



Книги очерков

Михаил Салтыков-Щедрин

Мелочи жизни

«Public Domain»

1887

Салтыков-Щедрин М. Е.

Мелочи жизни / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1887 — (Книги очерков)

«Мелочи жизни» – самое, может быть, пессимистическое произведение Салтыкова потому, что на исходе жизни ему довелось стать свидетелем трагической ситуации, когда современникам казалось, что «история прекратила течение свое», а историческое творчество иссякло, перспективы будущего исчезли в непроницаемом мраке, идеалы исчерпали себя. Жизнь всецело погрузилась в мутную тину «мелочей»...

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
I	5
II	10
III	15
IV	20
V	25
I. НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УХИЩРЕНИЙ	31
1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЖИЧОК	31
2. СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК	36
3. ПОМЕЩИК	41
4. МИРОЕДЫ	52
II. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ	57
1. СЕРЕЖА РОСТОКИН	57
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович

Мелочи жизни

ВВЕДЕНИЕ

I

Всякий истый петербуржец на три месяца в год обрекает себя на нечеловеческое житье. Конечно, я говорю не о «барах», которые разъезжаются по собственным деревням и за границу, а о простых смертных, которые расползаются по дачам, потому что за зиму Петербург их задавил. Кто поэкономнее, тот забирает из задних комнат мебелишку и старую, разнокалиберную посуду, увязывает на воза, садит сверху кухарку и едет. Другие нанимают дачи с мебелью и посудой и находят обломки и черепки. Постелей нет, или такие, что привыкать надо. Вместо простора – теснота, вместо тишины – судаченье соседей, вместо воздуха – сырость, вместо восстанавливающих солнечных лучей – туман и дожди.

Именно так было поступлено и со мной, больным, почти умирающим. Вместо того, чтобы везти меня за границу, куда, впрочем, я и сам не чаял доехать, повезли меня в Финляндию. Дача – на берегу озера, которое во время ветра невыносимо гудит, а в прочее время разливает окрест приятную сырость. Домик маленький, но веселенький, мебель сносная, но о зеркале и в помине нет. Поэтому утром я наливаю в рукомойник воды и причесываюсь над ним. Простору довольно, и большой сад для прогулок.

Болен я, могу без хвастовства сказать, невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них. Руки и ноги дрожат, в голове – целодневное гудение, по всему организму пробегает судорога. Несмотря на врачебную помощь, изможденное тело не может ничего противопоставить недугу. Ночи провожу в тревожном сне, пишу редко и с большим мученьем, читать не могу вовсе и даже – слышать чтение. По временам самый голос человеческий мне нестерпим.

Что это такое, как не мучительное и ежеминутное умирание, которому, по горькой насмешке судьбы, нет конца?

Знает ли читатель, что такое значит «пять минут»? Конечно, знает. Нет того русского человека, который многократно не отсчитал бы эти «пять минут», сидя в приемной, в ожидании нужного человека. Но вот наконец нужный человек появился в дверях, – сказал мимоходом два-три слова, – и всё забыто. Теперь помножьте эти пять минут на часы, на сутки, месяцы, на год, – что это такое? Сидишь и смотришь, как одна минута ползет за другой. Вот наконец доползла; начинаются следующие пять минут... ужасно! Нечто подобное должен испытать сидящий в одиночном заключении...

Что привело меня к этому положению? – на этот вопрос не обинуясь и уверенно отвечаю: писательство. Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я – вредный, вредный, вредный. Трудно поверить, а в провинции власть имущие делали гримасы, встретив где-нибудь мою книгу. «Каким образом этот „вредный“ писатель попал сюда?» – вот вопрос, который считался самым натуральным относительно моих сочинений, встреченных где-нибудь в библиотеке или в клубе. Один газетчик, которому я немало помог своим сотрудничеством при начале его журнального поприща, теперь прямо называет меня не только вредным, но паскудным писателем. Мало того: в родном городе некто

пожертвовал в местный музей мой бюст. Стоял-стоял этот бюст год или два благополучно – и вдруг его куда-то вынесли. Оказалось, что я – вредный...

Надеюсь, что этого достаточно для самой богатой надгробной эпитафии...

Итак, я провел лето в Финляндии. Финляндия – это та самая страна, где, по свидетельству Пушкина, жила злая волшебница Наина и добрый волшебник Финн. Финн долго боролся с Наиной, но потом махнул рукой и уехал в Швейцарию доить симментальских коров. Наина осталась одна, и сколько она делает всяких пакостей своему отечеству – этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Наводит тучи, из которых, в продолжение целых месяцев, льют дожди; наполняет страну ветрами, наворачивает камни на камни, зарывает деревни на восемь месяцев в снега и, наконец, в последнее время выслала сюда тьму-тьмушущую русских пионеров.

Здесьние русские пионеры – люди интеллигенции по преимуществу. Провозят из Петербурга чай, сахар, апельсины, табак и, миновавши териокскую таможенную, крестятся и поверяют друг другу: – Вы что провезли?

– Папиросы для мужа.

– А я – целую голову сахару... Угадайте – где она у меня была?

Шепот: – Ах, проказница!

Я не имею сведений, как идет дело в глубине Финляндии, проникли ли и туда обрусители, но, начиная от Териок и Выборга, верст на двадцать по побережью Финского залива, нет того ничтожного озера, кругом которого не засели бы русские землевладельцы. И все из всех сил стараются. Деньги бросают пригоршнями, несут явные и значительные убытки, и в конце концов все-таки только и слышишь, что то один, то другой мечтают о продаже своих дач. Правда, что на место убывающих являются новые заселенные; но выйдет ли когда-нибудь из этого толк – трудно сказать. Уходит масса денег – вот всё, что до сих пор ясно. И всё – благодаря пущенным слухам о необыкновенной живительности здешнего воздуха, – репутация, далеко не на всех оправдывающаяся.

Мне кажется, что если бы лет сто тому назад (тогда и «разговаривать» было легче) пустили сюда русских старообрядцев и дали им полную свободу относительно богослужения, русское дело, вообще на всех окраинах, шло бы толковее. Старообрядцы – это цвет русского простолюдыя. Они трудолюбивы, предприимчивы, трезвы, живут союзно и, что всего важнее, имеют замечательную способность к пропаганде. В настоящее время они имели бы здесь массу прозелитов, как имеют их среди зырян, пермяков и прочих инородцев отдаленного севера. Укрываясь от преследований в глубь лесов, несмотря на «выгонки», они сумели покорить сердца полудиких людей и сделать их почти солидарными с собою...

Но, вместо того чтобы воспользоваться их колонизаторскими способностями, их били кнутом, рвали ноздри, урезывали языки и вызвали (так сказать, создали) ужасный обряд саможжения.

За это, даже на том недалеком финском побережье, где я живу, о русском языке между финнами и слыхом не слыхать. А новейшие русские колонизаторы выучили их только трем словам: «риби» (грибы), «ривенник» (гривенник) и «двуривенник». Тем не менее в селе Новая-Кирка есть финны из толстосумов (торговцы), которые говорят по-русски довольно внятно.

Финны живут разрозненно и селятся починками в два-три дома. Есть, однако, большое село – Новая-Кирка, которое, впрочем, составляет тоже грудку починков. Народ трудолюбив и любит страстно свою землю. Работает неустойчиво, хотя частые непогоды мешают земледельческому труду. Землю удобряют исправно и держат достаточно скота, в особенности овец и свиней. Но коровы здешние малорослы, потому что в Финляндию, по какому-то недоразумению, безусловно запрещено ввозить скот из других стран, а следовательно, и совершенствовать местную породу трудно. Нынешний год все уродилось прекрасно, но с полей убрать было нелегко: целый месяц лили дожди. Мастеровых кругом совсем нет, кроме одного пекаря, который продает вразнос выборгские крендели. Отхожих промыслов тоже нет, а стало быть, нет и

бывалых людей. Финн замуровался в своей деревне, зарылся в снегах на две трети года и не двигается ни направо, ни налево. Есть, впрочем, в нашем соседстве два-три хозяина, которые скупают бруснику и ездят в сентябре в Петербург продавать ее.

О честности финской составила провербиальная репутация, но нынче и в ней стали сомневаться. По крайней мере, русских пионеров они обманывают охотно, а нередко даже и поворовывают. В петербургских процессах о воровствах слишком часто стали попадать финские имена – стало быть, способность есть. Защитники Финляндии (из русских же) удостоверяют, что финнов научили воровать проникшие сюда вместе с пионерами русские рабочие – но ведь клеветать на невинных легко!

Есть у финнов и способность к пьянству, хотя вина здесь совсем нет, за редким исключением корчемства, строго преследуемого. Но, дорвавшись до Петербурга, финн напивается до самозабвения, теряет деньги, лошадь, сбрую и возвращается домой гол как сокол.

Талантливы ли финны – сказать не умею. Кажется, скорее, что нет, потому что у громадного большинства их вы видите в золотушных глазах только недоумение. Да и о выдающихся людях не слыхать. Если бы что-нибудь было в запасе, все-таки кто-нибудь да создал бы себе известность.

О финских песнях знаю мало. Мальчишки-пастухи что-то поют, но тоскливое и всё на один и тот же мотив. Может быть, это такие же песни, как у их соплеменников, вотяков, которые, увидев забор, поют (вотяки, по крайней мере, русским языком шеголяют): «Ах, забёр!», увидав корову – поют: «Ах корова!» Впрочем, одну финскую песнь мне перевели. Вот она:

Давидовой корове бог послал теленка,
Ах, теленка!
А на другой год она принесла другого теленка.
Ах, другого!
А на третий год принесла третьего теленка,
Ах, третьего!
Когда принесла трех телят, то пастор узнал об этом,
Ах, узнал!
И сказал Давиду: ты, Давид, забыл своего пастора,
Ах, забыл!
И за это увел к себе самого большого теленка,
Ах, самого большого!
А Давид остался только с двумя телятами,
Ах, с двумя!

Я, впрочем, не ручаюсь за верность перевода. Может быть, даже самый текст вымышлен, но, во всяком случае, он близок к «перлу создания» и характеризует роль, которую играют здесь пасторы.

О науке финской я ничего не знаю; ей отгорожено место в Гельсингфорсе, а что она там делает – неизвестно.

Исправников и станowych здесь днем с огнем не сыщешь. Но паспорта у русских дачников с некоторого времени начали требовать.

.....

Но обращаюсь к «мелочам жизни».

Напрасно пренебрегают ими: в основе современной жизни лежит почти исключительно мелочь. Испуг и недоумение нависли над всею Европой; а что же такое испуг, как не сцепление обидных и деморализующих мелочей?

Вот уже сколько лет сряду, как каникулярное время посвящается преимущественно распространению испугов. Съезжаются, совещаются, пьют «молчаливые» тосты. «Граф Кальноки был с визитом у князя Бисмарка, а через полчаса князь Бисмарк отдал ему визит»; «граф Кальноки приехал в Варцин, куда ожидали также представителя от Италии», – вот что читаешь в газетах. Король Милан тоже ездит, кланяется и пользуется «сердечным» приемом. Даже черносгорский князь удосужился и съездил в Вену, где тоже был «сердечно» принят.

Что все это означает, как не фабрикацию испугов в умах и без того взбудораженных простецов? Зачем это понадобилось? с какого права признано необходимым, чтобы Сербия, Болгария, Босния не смели устроиваться по-своему, а непременно при вмешательстве Австрии? С какой стати Германия берется помогать Австрии в этом деле? Почему допускается вопиющая несправедливость к выгоде сильного и в ущерб слабому? Зачем нужно держать в страхе соседей?

Добрые гении пролагают железные пути, изобретают телеграфы, прорывают громадные каналы, мечтают о воздухоплавании, одним словом, делают всё, чтоб смягчить международную рознь; злые, напротив, употребляют все усилия, чтобы обострить эту рознь. Политиканство давит успехи науки и мысли и самые существенные победы последних умеет обращать исключительно в свою пользу.

Потом: «немецкие фабриканты совсем завладели Лодзем»; «немецкие офицеры живут в Смоленске»; «немецкие офицеры генерального штаба появились у Троицы-Сергия, изучают русский язык и ярославское шоссе, собирают статистические сведения, делают съемки» и т. д. Что им понадобилось? Ужели они мечтают, что германское знамя появится на ярославском шоссе и село Братовщина будет примежевано к германской империи?

Вот какие постыдные мелочи наполняют современную жизнь...

Это по части немцев; а по части россиян еще лучше.

«Фабриканты и заводчики рассчитываются с рабочими купонами девяностых годов...»

«Фабриканты и заводчики ходатайствуют об увеличении ввозных пошлин...»

«Фирма X проникла в земство и распоряжается по произволу выборами мировых судей...»

«Фирма Z скупилa чуть ли не целую губернию...»

«Леса наши гибнут, реки мелеют...»

«Крестьяне год от году беднеют, помещики также; а рядом с этим всеобщим обеднением вырастают миллионы, сосредоточенные в немногих руках».

Это уж мелочи горькие, но куда никто их еще не пугается; а когда наступит очередь для испуга, – может быть, дело будет уже непоправимо.

Все мы каждодневно читаем эти известия, но едва ли многим приходит на мысль спросить себя: в силу чего же живет современный человек? и каким образом не входит он в идиотизм от испуга?

Еще одна характеристическая мелочь. В последнее время многие огульно обвиняли нашу интеллигенцию во всех неурядицах и нестройствах и предлагали против нее поистине неслыханные, по своей нелепости, меры. В числе их немалую роль играл самосуд живорезов московского Охотного ряда, а некоторые не отступали даже перед топлением в Москве-реке. Разумеется, все это было говорено на ветер, но все-таки дает понятие о степени злопыхательства. И никому не пришло на мысль сказать во всеуслышание хотя бы умеренное слово в защиту интеллигенции. Хотя бы то, например, что единичные факты следует судить единично же; что обобщения в подобных случаях неуместны и вредны; что, наконец, если и можно забить интеллигенцию в грязь – что же тогда останется?

Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе. Остались бы «чумазные» с их исконным стремлением расщипать общественный карман до последней нитки.

Идет чумазый, идет! Я не раз говорил это и теперь повторяю: идет, и даже уже пришел! Идет с фальшивой мерою, с фальшивым аршином и с неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать...

Интеллигенция наша ничего не противопоставит ему, ибо она ниоткуда не защищена и гибнет беспомощно, как былие в поле...

Скучно и тяжело смотреть, как умы, вместо того чтобы питаться здоровою пищею, постепенно заполняются испугом. Испуг до того въелся в нас, что мы даже совсем не сознаем его. Это уже не явление, приходящее извне, а вторая природа. Мы перечитываем всевозможные загадочности и безусловно верим, что таинственная их сила управляет миром и что судьбы истории всецело отданы им во власть. Но еще мучительнее думать, что этому мыслительному плену не предвидится конца, потому что и подрастающее поколение, прислушиваясь к непрерывному голошению старших, незаметно заражается им. Простую мелочь, которая исчезла бы от одного дуновения здорового, освежающего воздуха, мы сумели превратить в мелочь изнуряющую.

Стоит прислушаться к говору невольных пленников, возвращающихся из душного Петербурга на дачи, чтобы убедиться, до какой степени всеми овладела вера в загадочность будущего.

– Слышали? – раздается в вагонах, – граф Кальноки был с визитом у Бисмарка?

– А через полчаса князь Бисмарк отдал визит Кальноки, и спять оба имели продолжительное совещание...

– И при сем присутствовал итальянский министр Лампопо...

– Ну, уж и Лампопо?..

– Все они там Лампопо... всех бы их...

– А слышали вы, что прусские офицеры у Сергия-Троицы живмя живут!

– Зачем их нелегкая принесла?

– Утереть бы им нос, этим паршивцам немцам, – вот и вся недолга...

– То-то, что платков нет...

– А слышали вы, как купец Z с рабочими купонами девяностого года рассчитался?

– Вот так с праздником сделал!

– Крестьяне, разумеется, жаловаться; однако...

– А слышали вы, как купец X всё земство в своем уезде своими людьми заполонил?

– Неужто? а я еще его дворовым мальчиком помню...

– Да, батюшка, нынче хамы – сила!

– Станция Териоки! – провозглашает кондуктор. Пленники вскакивают с мест и разбегаются по дачам.

А на даче мать семейства, встречая своего главу, сообщает:

– А ведь граф-то Кальноки... каков! Вот «наши» так не умеют... У Троицы, рассказывают, немца видели...

– Ну, ну, ладно, матушка! Какие такие там «наши»! Тоже... туда же... Вели-ка подавать суп, и будем обедать!

II

А с Баттенбергом творится что-то неладное. Его начали «возить». Сначала увезли, потом опять привезли. С какой целью? для чего лишний расход? чего смотрел майор Панов?

Бедный майор Панов! Сдается мне, что долго не быть ему подполковником. Разве новый Баттенберг приедет и напишет:

«В воздаяние ваших заслуг по увозу Баттенберга 1-го жалую вас...» Да и тут навряд ли отдадут ему старшинство, потому что ведь эти Баттенберги подозрительны. Скажет: одного уж увез, – пожалуй, увезет и другого...

И зачем Баттенберг воротился? Пожил в княжеском конаке, пожуировал – и будет. Наконец совсем было уехал – вдруг телеграмма: «Возвращайтесь! нашли надежную прислугу». И он возвратился. Даже не спросил себя: достаточно ли надежна прислуга и долго ли ему придется опять пожуировать. Жить бы да поживать ему где-нибудь в Касселе или Гомбурге, на хлебах у нескольких монархов —

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой!..

Вот где нужно искать действительных космополитов: в среде Баттенбергов, Меренбергов и прочих штаб- и обер-офицеров прусской армии, которых обездолил князь Бисмарк. Рыщут по белу свету, теплых местечек подыскивают. Слушайте! ведь он, этот Баттенберг, так и говорит: «Болгария – любезное наше отечество!» – и язык у него не заплелся, выговаривая это слово. Отечество. Каким родом очутилось оно для него в Болгарии, о которой он и во сне не видал? Вот уж именно: не было ни гроша – и вдруг алтын.

А болгары что? «Они с таким же восторгом приветствовали возвращение князя, с каким, за несколько дней перед тем, встретили весть об его низложении». Вот что пишут в газетах. Скажите: ну, чем они плоше древних афинян? Только вот насчет аттической соли у них плоховато.

Конечно, Баттенберг может сказать: моему возвращению рукоплескали. Но таких ли рукоплесканий я был свидетелем в молодости! Приедешь, бывало, в Михайловский театр, да выйдет на сцену Луиза Майер в китайском костюме (водевиль «La fille de Dominique»), да запоеет:

Je suis Tchinn-ka la blonde,
Esclave du Sultan,
Et je parcours le monde
En dansant, en chantant...¹

как весь театр Михайловский словно облютеет. «Bis! bis!» – зальются хором люди всех ведомств и всех оружий. Вот если бы эти рукоплескания слышал Баттенберг, он, наверное, сказал бы себе: теперь я знаю, как надо приобретать народную любовь!

И находятся еще антики, которые уверяют, что весь этот хлам история запишет на свои скрижали... Хороши будут скрижали! Нет, время такой истории уж прошло. Я уверен, что даже современные болгары скоро забудут о Баттенберговых проказах и вспомнят о них лишь тогда, когда его во второй раз увезут: «Ба! – скажут они, – да ведь это уж, кажется, во второй раз! Как бы опять его к нам не привезли!»

¹ Я белокурая китайка, невольница султана, и я объезжаю свет, танцую и распевая (франц.)

* * *

Помните ли вы, читатель, Наполеона III? – наверное, позабыли! Между тем он почти 20 лет сряду сражал не одну Францию, но и всю Европу – и никто не замечал праха, который до краев наполнял этого человека. Все преклонялось перед ним, все считало его серьезною силою. Новогодние приемы его представляли собой как бы политическую программу на целый год, – программу, которая принималась безоговорочно к исполнению. Но наконец пробил-таки час, когда гноище, на котором он возлежал, раскрылось само собой. И что же? С последним громом пушек – всё смолкло, точно ничего и не было! Несмотря на его падение и смерть, события продолжали идти своим чередом, как будто он никогда никаким «концертом» не дирижировал. И теперь имя его до того погрузилось в мрак, что не только никто о нем не говорит, но даже и не помнит его существования. Концерты европейские продолжают разыгрываться без него, как разыгрывались при нем, а жизнь народная продолжает по-прежнему свое течение, особо от концертов.

Имена Ньютонов, Франклинов, Галилеев, Ломоносовых будут переходить из века в век; имена Наполеонов и других концертантов потонут в болотных топях. Таков закон вещей, и никакое насилие не может его обойти. Не обойдет его и история.

Правда, что Наполеон III оставил по себе целое чужее племя Баттенбергов, в виде Наполеонидов, Орлеанов и проч. Все они бодрствуют и ищут глазами, всегда готовые броситься на добычу. Но история сумеет разобраться в этом наносном хламе и отыщет, где находится действительный центр тяжести жизни. Если же она и упомянет о хламе, то для того только, чтобы сказать: было время такой громадной душевной боли, когда всякий авантюрист овладевал человечеством без труда!

Скажет она это потому, что душевная боль не давала человечеству ни развиваться, ни совершать плодотворных дел, а следовательно, и в самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв, который нельзя же не объяснить. Но, сказавши, – обведет эти строки черною каймою и более не возвратится к этому предмету.

* * *

Ах, эти мелочи! Как чесоточный зудень, впиваются они в организм человека, и точат, и жгут его. Сколько всевозможных «союзов» опутало человека со всех сторон; сколько каждый индивидуум ухитряется придумать лично для себя всяких стеснений! И всему этому, и пришедшему извне, и придуманному ради удовлетворения личной мнительности, он обязывается послужить, то есть отдать всю свою жизнь. Нет места для работы здоровой мысли, нет свободной минуты для плодотворного труда! Мелочи, мелочи, мелочи – заполонили всю жизнь.

Возьмем для примера хоть страх завтрашнего дня. Сколько постыдного заключается в этой трехсловной мелочи! Каким образом она могла въестся в существование человека, существа по преимуществу предусмотрительного, обладающего зиждательною силою? Что придало ему? что заставило так безусловно подчиниться простой и постыдной мелочи?

Встречаете на улице приятеля и видите, что он задумчив и угнетен.

– Что так задумались?

– Да как-то не по себе... Боюсь.

– Бойтесь? чего же?

– Да завтрашнего дня. Все думается: что-то завтра будет! Не то боязнь, не то раздраженье чувствуешь... смутное что-то. Стараюсь вникнуть, но до сих пор еще не разобрался. Точно находишься в обществе, в котором собравшиеся все разбрелись по углам и шушукаются, а ты

сидишь один у стола и пересматриваешь лежащие на нем и давно надоевшие альбомы... Вот это какое ощущение!

– Ах, пустяки какие!

– Пустяки – это верно. Но в том-то и сила, что одолели нас эти пустяки. Плынут со всех сторон, впиваются, рвут сердце на части.

– Но что же может быть завтра такого страшного?

– То-то, что ничего не известно. Будет – не будет, будет – не будет? – только на эту тему и работает голова. Слышишь шепоты, далекое урчание, а ясного – ничего.

– Все-таки я не вижу, что же тут общего с завтрашним днем?

– И завтра, и сегодня, и сейчас, сию минуту, – разве это не все равно? Голова заполонена; кругом – пустота, неизвестность или нелепая и разноречивая болтовня: опускаются руки, и сам незаметно погружаешься в омут шепотов или нелепой болтовни... Вот это-то и омерзительно.

И действительно, кругом слышатся только шепоты да гул какой-то загадочной работы при замкнутых дверях. Поневоле вспомнятся стихи Пушкина:

Смутно всюду, темно всюду.
Быть тут чуду! Быть тут чуду!

Только не «чудо» является в результате, а простой изнуряющий вздор.

Возьмем теперь другой пример: образование. Не о высшей культуре идет здесь речь, а просто о школе. Школа prepares человека к восприятию знания: она дает ему основные элементы его. Это достаточно указывает, какая тесная связь существует между школой и знанием.

Известно и даже за аксиому всеми принято, что знание освещает не только того, кто непосредственно его воспринимает, но, через посредство школы, распространяет лучистый свет и на темные массы. Известно также, что люди одаряются от природы различными способностями и различной степенью восприимчивости; что ежели практически и трудно провести эту последнюю истину во всем ее объеме, то, во всяком случае, непростительно не принимать ее в соображение. Наконец, признано всеми, что насильственно суживать пределы знания вредно, а еще вреднее наполнять содержание его всякими случайными примесями.

Посмотрим же, в какой мере применяются эти истины к школьному делу.

Прежде всего, над всей школой тяготеет нивелирующая рука циркуляра. Определяются во всей подробности не только пределы и содержание знания, но и число годовых часов, посвящаемых каждой отрасли его. Не стремление к распространению знания стоит на первом плане, а глухая боязнь этого распространения. О характеристических особенностях учащихся забыто вовсе: все предполагается скроенными по одной мерке, для всех преподается один и тот же обязательный масштаб. Переводный или непереводный балл – вот единственное мерило для оценки, причем не берется в соображение, насколько в этом балле принимает участие слепая случайность. О личности педагога тоже забыто. Он не может ни остановиться лишних пять минут на таком эпизоде знания, который признает важным, ни посвятить пять минут меньше такому эпизоду, который представляется ему недостаточно важным или преждевременным. Он обязывается выполнить букву циркуляра – и больше ничего.

Но, в таком случае, для чего же не прибегнуть к помощи телефона? Набрать бы в центре отборных и вполне подходящих к уровню современных требований педагогов, которые и распространяли бы по телефону свет знания по лицу вселенной, а на местах содержать только тьюторов, которые наблюдали бы, чтобы ученики не повесничали...

Мало того: при самом входе в школу о всяком жаждущем знания наводится справка.

Дворянин или мещанин?

Какого вероисповедания: православный, католик или, наконец, еврей?

Для последних, в особенности, школа – время тяжелого и жгучего испытания. С юношеских лет еврей воспитывает в себе сердечную боль, проходит все степени неправды, унижения и рабства. Что же может выработаться из него в будущем?

Нет ни общей для всех справедливости, ни признания человеческой личности, ни живого слова. Ничего, кроме задачника Буренина и Малинина и учебников грамматики всевозможных сортов.

Что может дать такая школа? Что, кроме *tabula rasa*² и особенной болезни, к которой следует применить специальное наименование «школьного худосочия»?

Сонливые и бессильные высыпают массы юношей и юниц из школ на арену жизни, сонливо отбудут жизненную повинность и сонливо же сойдут в преждевременные могилы.

А вот и третий пример. Представьте себе, что студент Хорьков женился на Липочке Вольтовой (известные лица из комедий Островского). Липочка вышла замуж, потому что случайно отдалась Хорькову, и надо же «прикрыть грех»; Хорьков женился, потому что принял Липочкину наглость за «святую простоту». При этом, само собой разумеется, старик Большов надул Хорькова и не дал за Липочкой никакого приданого, кроме тряпок. И вот они невдолге опознали друг друга. Липочка уверилась, что Хорьков не в состоянии дарить ей трепашельчатых платьев; Хорьков убедился, что мечты его о «святой простоте», при первом же столкновении с действительностью, разбились в прах.

Что может выйти из этого сожития? Что, кроме клетки, в которой сидят два зверя, прикованные каждый к своему углу и готовые растерзать друг друга при первой возможности?

И, наконец, четвертый пример. Перед вами человек вполне независимый, обеспеченный и культурный. Он мог бы жить совершенно свободно, удовлетворяя потребностям своей развитости. Но его так и подмывает отдать себя в рабство. Он чует своим извращенным умом, что есть где-то лестница, которая ведет к почестям и власти. И вот он взбирается на нее. Скользит, оступается и летит стремглав назад. Это, однако ж, не останавливает его. Он вновь начинает взбираться, медленно, мучительно, ступень за ступенью, и наконец успевает прийти к цели. Тут его встречают щелчки за щелчками, потому что он чуженин в этой среде, чужого поля ягода. Тем не менее руководители среды очень хорошо понимают, что от этого чуженина отделаться не легко, что он упорен и не уйдет назад с одними щелчками. Его наконец пристроивают, дают приют и мало-помалу привыкают звать «своим». В ответ на это вынужденное радушие он ходко впрягается в плуг и начинает работать с ревностью прозелита. Идеалы, свобода, порывы души – все забыто, все принесено в жертву рабству. А через короткое время в результате получается заправский раб, в котором все сгнило, кроме гнупкой спины и лгущего языка во рту.

Довольно ли этих примеров?

* * *

Я не знаю, как отнесется читатель к написанному выше, но что касается до меня, то при одной мысли о «мелочах жизни» сердце мое болит невыносимо.

Несомненно, что весь этот угар, эта разнокалиберная фантазмагория устранилась сама собой; но спрашивается: сколько увлекут за собой жертв одни усилия, направленные с целью этого устранения?

Мне скажут, быть может, что я смешал в одну кучу «мелочи» совсем различных категорий: Баттенберговы приключения со школою и т. д. Я и сам понимаю, что, в существе, это явления вполне разнородные, но и за всем тем не могу не признать хотя косвенной, но очень тесной связи между ними. Дело в том, что Баттенберговы проказы не сами по себе важны, а потому, что, несмотря на свое ничтожество, заслоняют те горькие «мелочи», которые заправским обра-

² чистой доски (лат.)

зом отравляют жизнь. Под шум всевозможных совещаний, концертов, тостов и других политических сюрпризов прекращается русловое течение жизни, и вся она уходит внутрь, но не для работы самоусовершенствования, а для того, чтобы переполниться внутренними болями. И умственный, и материальный уровень страны несомненно понижается; исчезает предусмотрительность; разрывается связь между людьми, и вместо всего на арену появляется существование в одиночку и страх перед завтрашним днем. Всё это, конечно, равносильно доброй войне.

Войну клянут; собирают митинги, пишут трактаты об устранении поводов к ней или о замене ее другим судом, менее бесчеловечным. Но забывают, что прелиминарии войны гораздо мучительнее, нежели самая война. Война открывает доступ самым дурным страстям (одни подрядчики и казнокрады чего стоят!); она изнуряет страну материально; прелиминарии к войне производят в стране умственное и нравственное разложение, погружают ее в мрак ничтожества. Все дурное, неправое и безнравственное назревает под влиянием смуты, заставляющей общество метаться из стороны в сторону без руководящей цели, без всякого сознания сущности этих беспорядочных метаний.

Общество, не знающее иного содержания, кроме сплетен и насильственно созданных пут, может быть способно лишь к прозябанию. Спрашивается, однако ж: возможно ли бессрочное прозябание и не должно ли оно постепенно перейти в гниение?

Признаюсь откровенно; как ни мучителен для меня утвердительный ответ, но я вынужден сказать: да, прозябание не бессрочно.

III

Чтобы вполне оценить гнетущее влияние «мелочей», чтобы ощутить их во всей осязаемости, перенесемся из больших центров в глубь провинции. И чем глубже, тем яснее и яснее выступит ненормальность условий, в которые поставлено человеческое существование.³

В губернии вы прежде всего встретите человека, у которого сердце не на месте. Не потому оно не на месте, чтобы было переполнено заботами об общественном деле, а потому, что все содержание настоящей минуты исчерпывается одним предметом: ограждением прерогатив власти от действительных и мнимых нарушений.

Прерогативы власти – это такого рода вещь, которая почти недоступна вполне строгому определению. Здесь настоящее гнездилище чисто личных воззрений и оценок, так что ежели взять два крайних полюса этих воззрений, то между ними найдется очень мало общего. Все тут неясно и смутно: и пределы, и степень, и содержание. Одно только прямо бросается в глаза – это власть для власти, и, само собой разумеется, только одна эта цель и преследуется с полным сознанием.

В спокойное время на помощь к этой разнокалиберщине является циркуляр. Он старается сыютить противоположные полюсы личных воззрений, приводит примеры, одно одобряет, другое порицает и в заключение все-таки взывает к усмотрению. Но ведь в спокойное время человек, у которого сердце не на месте, и сам сидит спокойно. Он равнодушно прочитывает полученную рацею и говорит себе: «У меня и без того смирно – чего еще больше?..» «Иван Иванович! – обращается он к приближенному лицу, – кажется, у нас ничего такого нет?» – И есть ли, нет ли, циркуляр подшивается к числу прочих – и делу конец.

Совсем в другом виде представляется дело в так называемые переходные эпохи, когда общество объято недоумениями, страхом завтрашнего дня и исканием новых жизненных основ. Это – время «строгости и скорости». Тут циркуляр не только теряет свое разъяснительное значение, но положительно запутывает. Что такое: «а посему»? Почему «посему»? – беспокойно спрашивает себя адресат. И вот начинаются утягиванья, натягиванья, и наконец личное усмотрение вступает в свои права. «Строгость и скорость» – только и всего. Власть для власти, подозрительность, вмешательства – все призывается на помощь, лишь бы успокоить встревоженное сердце.

Наступает истинный переполох. И у себя дома, и в канцеляриях, и в гостях у частных лиц, и в общественных местах – везде чудятся дурные страсти, безначалие и подрывы основ, под которыми, за неясностью этого выражения, разумеются те же излюбленные прерогативы власти. Пускаются в ход благосклонные или язвительные улыбки (смотря по обстоятельствам), нахмуренные брови, воркотня; поднимается сам собой указательный палец и грозит в пространство. Уже не циркуляр является руководителем, а газета с ее толками и инсинуациями...

Все это я не во сне видел, а воочию. Я слышал, как провинция наполнялась криком, перекатывавшимся из края в край; я видел и улыбки, и нахмуренные брови; я ощущал их действие на самом себе. Я помню так называемые «столкновения», в которых один толкался, а другой думал единственно о том, как бы его не затолкали вконец. Я не только ничего не преувеличиваю, но, скорее, не нахожу настоящих красок.

Я не говорю уже о том, как мучительно жить под условием таких метаний, но спрашиваю: какое горькое сознание унижения должно всплыть со дна души при виде одного этого неустанно угрожающего указательного перста?

³ Прошу читателя иметь в виду, что я говорю не об одной России: почти все европейские государства в этом отношении устроены на один образец. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– Иван Иванович! кажется, к нам затесался анархист... Вот этот, черноватый, с длинными волосами... И вид у него такой, точно съест хочет...

– Это у него от природы-с, – робко пытается разубедить Иван Иванович.

– Природа! знаем мы эту природу! Не природа, а порода. Природу нужно смягчать, торжествовать над ней надо. Нет, знаете ли что? лучше нам подальше от этих лохматых! Пускай он идет с своей природой, куда пожелает. А вы между тем шепните ему, чтоб он держал ухо востро.

Указательный палец поднимается сам собой, а «лохматый», к немалому своему испугу и удивлению товарищей, обязывается исчезнуть с лица земли.

Или:

– А ведь у вас, Федор Федорович, в ведомстве не совсем-то благополучно.

– Что такое? – озабоченно спрашивает Федор Федорович.

– Да так... не скажу, чтоб явное противодействие, а душок проявляется-таки. И при этом не без иронии...

– Помилуйте-с!

– А вы припомните, как вы мне ответили на мой запрос о необходимости иметь в сердцах страх божий? Конечно, я вас лично не обвиняю, но письмоводитель ваш – шпилька!

– Но что же я такое ответил?

– А ответили: «В моем ведомстве страха божия очень достаточно»... н-да-с...

К счастью, в это время подвертывается Емельян Семенович с колодой карт.

– Повинтить-с?

– С удовольствием.

Человек, у которого сердце не на месте, усаживается в винт; но когда кончается условленное число робберов, он все-таки не преминет напомнить Федору Федоровичу:

– А насчет письмоводителя вы все-таки имейте в виду. Я давно в нем замечаю. Нет у него этой теплоты чувства, этой, так сказать...

Таков человек, у которого сердце не на месте; а за ним следует целая свита людей, у которых тоже сердце не на месте, у каждого по своему ведомству. И опять появляются на сцену лохматые, опять слышатся слова: «противодействие», «ирония». Сколько тут жертв!

Мне скажут, что все это мелочи, что в известные эпохи отдельные личности имеют значение настолько относительное, что нельзя формализоваться тем, что они исчезают бесследно в круговороте жизни. Да ведь я и сам с того начал, что все подобные явления назвал мелочами. Но мелочами, которые опутывают и подавляют...

Таким образом, губерния постепенно приводится к тому томительному однообразию, которое не допускает ни обмена мыслей, ни живой деятельности. Вся она твердит одни и те же подневольные слова, не сознавая их значения и только руководствуясь одним соображением: что эти слова идут ходко на жизненном рынке.

Канут ли эти мелочи в вечность бесследно или будут иметь какие-нибудь последствия? – не знаю. Одно могу сказать с некоторою достоверностью, что есть мелочи, которые, подобно снежному шару, чем дальше катятся, тем больше нарастают и наконец образуют из себя глыбу.

Ежели мы спустимся ступенью ниже – в уезд, то увидим, что там мелочи жизни выражаются еще грубее и еще меньше встречают отпора. Уезд исстари был вместилищем людей одинаковой степени развития и одинакового отсутствия образа мыслей. Теперь, при готовых девизах из губернии, разномыслие исчезло окончательно. Даже жены чиновников не ссорятся, но единомышленно подвывают: «Ах, какой циркуляр!»

Была минута, когда мировые и земские учреждения внесли некоторое оживление в эту омертвелую среду, но время это памятно уже очень немногим современникам. Нынче и мировые, и земские деятели одинаково погрузились в общую пучину единомыслия и одинаково твердят одни и те же заветные слова. Пришли новые люди и принесли с собой сознание о вреде

так называемых пререканий и о необходимости безусловно покориться веяниям минуты. А ежели и остались немногие из недавних «старых», то они так легко выдержали процесс переодевания, что опознать в них людей, которые еще накануне плели лапти с подковыркою, совсем невозможно.

Главная цель, к которой ныне направлены все усилия уездной административной деятельности, – это справляться дома, своими средствами, и как можно меньше беспокоить начальство. Но так как выражение «свои средства» есть не что иное, как вольный перевод выражения «произвол», то для подкрепления его явилось к услугам и еще выражение: «в законах нет». Целых пятнадцать томов законов написано, а все отыскать закона не могут! Стоят эти томы в шкапу и безмолвствуют; а ключ от шкапа заброшен в колодезь, чтоб прочнее дело было.

Соберутся уездные деятели на воскресном пироге у соборного протоиерея (ныне и он играет очень немаловажную роль) и ведут единомысленную беседу.

– Я в своем участке одного человека заприметил, – ораторствует мировой судья, – надо бы к нему легонечко подойти.

– А у нас тут мешанинишко в городе завелся, – подхватывает неперменный член, – газету выписывает, книжки читает... да и поговаривает. В базарные дни всякий народ около его лавчонки толпится, а он сидит и газету в руках держит... долго ли до греха!

Исправник слушает и безмолвствует, только усами шевелит.

– Сократить бы! – изрекает отец протопоп.

– Всенепременно-с, – подтверждает председатель земской управы, – и я за одним человеком примечаю... Я уж и говорил ему: мы, брат, тебя без шуму, своими средствами... И представьте себе, какой нахал: «Попробуйте» – говорит!

– Что ж, попробовать можно! – вставляет свое слово городской голова, усмехаясь в бороду.

– И попробуем! – решает предводитель.

– И по-про-бу-ем! – восклицает исправник, вставая из-за стола.

Пирог съеден, гости разошлись по домам, а на другой день «свое средство» уже в ходу.

Так, изо дня в день, течет эта безрассветная жизнь, вся поглощенная мелочами, чего-то отыскивающая и ничего не обретающая, кроме усмотрения. Сегодня намечается одна жертва, завтра уже две и так далее в усиленной прогрессии.

Недаром же так давно идут толки о децентрализации, смешиваемой с сатрапством, и о расширении власти, смешиваемом с разнузданностью. Плоды этих толков, до сих пор, впрочем, остававшихся под спудом, уже достаточно выяснились. «Эти толки не даром! в них-то и скрывается настоящая интимная мысль!» – рассуждает провинция и, не откладывая дела в долгий ящик, начинает приводить в исполнение не закон и даже не циркуляр, а простые газетные толки, не предвидя впереди никакой ответственности...

Но и за всем тем, какое бессилие! одиночные жертвы да сетования и слезы близких людей – неужели это бесплодное щипанье может удовлетворять и даже радовать?

Спустимся еще ступенью ниже – в деревню, и мы найдем ее всецело отданною в жертву мелочам. Тут мы прежде всего встретимся с «чумазым», который, всюду проник с сонмищами своих агентов. Эти агенты рыщут по деревням, устанавливают цены, скупают, обвешивают, обмеривают, обсчитывают, платят неосуществившимися деньгами, являются на аукционы, от которых плачет недоимщик, чутко прислушиваются к бабьим стенам и целыми обществами закабаляют людей, считающихся свободными. Словом сказать, везде, где чувствуется нужда, горе, слезы, – там и «чумазый» с своим кошелем. Мало того: чумазый внедрился в самую деревню в виде кабатчика, прасола, кулака, мироеда. Эти уж действуют не наездом, а постоянно и не торопясь. Что касается до мирских властей, то они беспрекословно отдались в руки чумазому и думают только об исполнении его прихотей.

Затем мы встречаемся с общиной, которая не только не защищает деревенского мужика от внешних и внутренних неурядиц, но сковывает его по рукам и ногам. Она не дает простора ни личному труду, ни личной инициативе, губит в самом зародыше всякое проявление самостоятельности и, в заключение, отдает в кабалу или выгоняет на улицу слабых, не успевших заручиться благорасположением мироеда. Было время, когда надеялись, что община обеспечит хоть кусок хлеба слабому члену, но нынче и эти надежды рассеялись. Оставленные наделы, покинутые и заколоченные избы достаточно свидетельствуют о сладостях деревенской жизни. Куда делались обитатели этих опустелых изб? Увы! скоро самая память о них исчезнет в деревне. Они получили паспорта и «ушли» – вот все, что известно; а удастся ли им, вне родного гнезда, разрешить поставленный покойным Решетниковым вопрос: «Где лучше?» – на это все прошлое достаточно ясно отвечает: нет, не удастся.

Наконец: мы встречаемся с крестьянской избой, переполненной сварой, семейными счетами и непрестанным галдением. В этом миниатюрном ковчеге нередко ютится несколько поколений от грудного младенца до ветхого старика, который много лет, не выпуская жалобы, лежит на печи и не может дожидаться смерти. Всевозможные насекомые ползут по стенкам и сыплются с потолка; всевозможные звуки раздаются с утра до вечера: тут и крик младенца, и назойливое гоношенье подростков, и брань взрослых, и бляение обьягнившейся овцы, и мычание теленка, и вздохи старика. Целый ад, который только летом, когда изба остается целый день пустою, несколько смягчает свои сатанинские крики.

Ах, этот жалкий старик! Помнится, читал я в одном из сборников Льва Толстого сказку о старом коршуне. Вздумалось ему переселиться из родной стороны за море – вот он и стал переносить по очереди своих коршунят на новое место. Понес одного, долетел до середины морской пучины и начал допрашивать птенца: «Будешь ли меня кормить?» Натурально, птенец испугался и запищал: «Буду». Тогда старый коршун бросил его в пучину водную и возвратился назад. Полетел он с другим коршуненком, и опять повторилась та же сцена. Опять вопрос: «Будешь ли меня кормить?» – и ответ: «Буду!» Бросил старый коршун и этого птенца в пучину и полетел за третьим. Но третий был настоящий коршун, беспощадный и жестокий. На вопрос: «Будешь ли меня на старости лет кормить?» – он отвечал прямо: «Не буду!» И старый коршун бережно донес его до нового места, воспитал и улетел прочь умирать.

Точно то же и тут. Выкормил-выпоил старый Кузьма своих коршунов и полез на печку умирать. Сколько уж лет он мрет, и всё окончания этому умиранию нет. Кости да кожа, ноги мозжат, всего знобит, спину до ран пролежал, и когда-то когда влезет к нему на печь молодуха и обрядит его.

– Долго ли, батюшка, нам с тобой маяться? – нетерпеливо спрашивает его большак-коршун.

– Видно уже, пока смерть... – чуть слышно вздыхает в ответ старик. – Тюрки бы мне... поесть хочется!

В такой обстановке человек поневоле делается жесток. Куда скрыться от домашнего гвалта? на улицу? – но там тоже гвалт: сход собрался – судят, рядят, секут. Со всех сторон, купно с мироедами, обступило сельское и волостное начальство, всякий спрашивает, и перед всяким ответ надо держать... А вот и кабак! Слышите, как Ванюха Бесчастный на гармонике заливается?

.....

Как живут массы при таких условиях? Еще недавно на этот вопрос я отвечал бы: они живут особливую жизнью, независимую от культурных ухищрений. Но теперь, разобравшись ближе в тине мелочей, я не могу остаться при прежнем объяснении. Культурный человек сделался проницателен; он понял свою зависимость от жизни масс и потому приспособляет

последнюю так, чтобы будущее было для него обеспечено. Отсюда такая бесконечная масса проектов, трактующих об упрощении и устранении. Семейная жизнь крестьянина, его отношение к земле, к промыслам, к нанимателю, к начальству – все выступило на арену, и всему предполагается учинить отчетливую и безвыходную регламентацию. Конечно, все это покуда «толки», но, как я сказал выше, в известной среде «толкам» дается даже большее значение, нежели ясно высказанному слову. Культурный глаз проникнет в мельчайшие подробности крестьянской жизни, а культурные намерения, несомненно, дадут ей соответствующую окраску. Самая возможность самостоятельного развития исчезнет надолго, а сумма мелочей не только не умалится, но увеличится. И будет катиться эта глыба вперед и вперед, покуда не застрянет среди дороги и не сделает ее непроходимой.

И много породит несчастливцев эта глыба, много – в своем нарастании – увлечет она жертв в могилы.

* * *

Вот настоящие, удручающие мелочи жизни. Сравните их с приключениями Наполеонов, Орлеанов, Баттенбергов и проч. Сопоставьте с европейскими концертами – и ответьте сами: какие из них, по всей справедливости, должны сделаться достоянием истории и какие будут отмечены ею. Что до меня, то я даже ни на минуту не сомневаюсь в ее выборе.

Говорят, будто Баттенберг прослезился, когда ему доложили: «Карета готова!» Еще бы! Все лучше быть каким ни на есть державцем, нежели играть на бильярде в берлинских кофейнях. Притом же, на первых порах, его беспокоит вопрос: что скажут свои? папенька с маменькой, тетеньки, дяденьки, братцы и сестрицы? как-то встретят его прочие Баттенберги и Орлеаны? Наконец, ему ведь придется отвыкать говорить: «Болгария – любезное отечество наше!» Нет у него теперь отечества, нет и не будет!

Но все эти тревоги скоро пройдут. Забудется Болгария, забудется война с Сербией, и начнет Баттенберг переходить из кофейни «Золотого Оленя» в кофейню «Золотого Рога», всюду, где в окне вывешено объявление: «Продается пиво прямо из бочки». Русскую ли партию он будет играть на бильярде – с засаживанием шаров в лузу, или немецкую – с одними карамболями? Нужно полагать, что, несмотря на неудачный конец, он все-таки сохранит благодарную память и предпочтет русскую партию всякой другой. А впрочем... кто может измерить глубину будущего? кто может сказать заранее, оснуется ли Баттенберг навсегда в кофейне «Золотого Оленя» или... А вдруг состоится новый концерт, и привезут его опять в Болгарию, и опять он обретет «любезное отечество».

Случайно или не случайно, но с окончанием баттенберговских походов затихли и европейские концерты. Визиты, встречи и совещания прекратились, и все разъехались по домам. Начинается зимняя работа; настанет время собирать материалы и готовиться к концертам будущего лета. Так оно и пойдет колесом, покуда есть налицо человек (имярек), который держит всю Европу в испуге и смуте. А исчезнет со сцены этот имярек, на месте его появится другой, третий.

«Паны дерутся, а у хлопков чубы болят», – говорит старая малороссийская пословица, и в настоящем случае она с удивительной пунктуальностью применяется на практике. Но только понимает ли заманиловский Авдей, что его злополучие имеет какую-то связь с «молчаливым тостом»? что от этого зависит война или мир, повышение или понижение курса, дороговизна или дешевизна, наличность баланса или отсутствие его?

– А ну-тко, Авдей, отвечай, знаешь ли ты, что такое баланс?

IV

Вспомним сравнительно недавнее прошлое – и мы почувствуем себя среди целой сети самых вопиющих мелочей.

Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе.

Самые разнообразные виды рабской купли и продажи существовали тогда. Людей продавали и дарили, и целыми деревнями, и поодиночке; отдавали в услужение друзьям и знакомым; законтрактовывали партиями на фабрики, заводы, в судовую работу (бурлачество); торговали рекрутскими квитанциями и проч. В особенности жестоко было крепостное право относительно дворовых людей: даже волосы крепостных девок эксплуатировали, продавая их косы парикмахерам. Хотя закон, изданный, впрочем, уже в нынешнем столетии, и воспрещал продажу людей в одиночку, но находили средства обходить его. Не позволяли дворовым вступать в браки и продавали мужчин (особенно поваров, кучеров, выездных лакеев и вообще людей, обученных какому-нибудь мастерству) поодиночке, с придачею стариков, отца и матери, – это называлось продажей целым семейством; выдавали девок замуж в чужие вотчины – это называлось: продать девку на вывод. Женский персонал помещичий был по преимуществу выдумчив по этой части. Не в редкость было в то время слышать такие разговоры:

– Что же, сударыня, продадите, что ли, девку-то? – спрашивал сосед-помещик помещицу-кулака, чересчур дорожившуюся живым товаром.

– Да дешево уж очень даете.

– Помилуйте! шестьдесят рублей (на ассигнаций) их нынче по сорока рублей за штуку – сколько угодно!

– А вы за кого ее замуж хотите отдать?

– Есть у меня, видите ли, вдовец. Не стар еще, да детей куча, тягла править не в силах. Своих девок на выданье у меня во всей вотчине хоть шаром покати, – поневоле в люди идешь!

– Вот видите ли, за вдовца! За шестьдесят рублей я девку несчастною должна сделать!

– Да прибавь ей, сударь, пять рубликов? – вступается муж помещицы-кулака.

– Ну, видно, нечего с вами делать. Извольте шестьдесят пять рублей.

– Хорошо, я согласна. Хоть и дешевенько, да для соседа.

Торг заключался. За шестьдесят рублей девку не соглашались сделать несчастной, а за шестьдесят пять – согласились. Синенькую бумажку ее несчастье стоило. На другой день девке объявляли через старосту, что она – невеста вдовца и должна навсегда покинуть родной дом и родную деревню. Поднимался вой, плач, но «задаток» был уже взят – не отдавать же назад!

То же проделывалось с рекрутчиной, которая представляла уже серьезную статью дохода. Торговать рекрутами закон не позволял, но продавать зачетные рекрутские квитанции было разрешено. Главный контингент для этого рода эксплуатации доставляли те же дворовые люди. В старину помещики охотно переводили крестьян в дворовые, особливо ежели крестьянское семейство приходило почему-либо в упадок. Дворовые люди представляли несомненную выгоду. Во-первых, им не нужно было давать «дней» для работы на себя, а можно было каждый день томить на барской работе; во-вторых, при их посредстве можно было исправлять рекрутчину, не нарушая целости и благосостояния крестьянских семей.

Я помню, как еще при первых слухах о предстоящем наборе помещичьи гнезда наполнялись шушуканьем. Помещики и помещицы, во время обеда, чая и ужина, начинали говорить по-французски; лакеи настороживали уши, усиливаясь понять, на кого падет жребий. Вообще весь воздух, начиная от конюшен и кончая барскими хоромами, наполнялся томительным ожиданием. За всем тем нужно заметить, что в крестьянской среде рекрутская очередь

велась неупустительно, и всякая крестьянская семья обязана была отбыть ее своевременно; но это была только проформа, или, лучше сказать, средство для вымогательства денег. Зажиточные семьи в большинстве случаев откупались, и тут-то вот и шли в ход зачетные квитанции. Большая часть их расходилась между своими, излишние – продавались на сторону.

Перед отвозом людей в рекрутское присутствие сохранялась глубокая тайна относительно назначенных в рекруты. Последних даже приголубливали, выказывали им удовольствие («Ванька! да, никак, ты уж и пить перестал! Молодец, брат!»). Но некоторые чутьем угадывали ожидающую их участь и скрывались, несмотря на строгий надзор. Большинство не уходило дальше своего же леса и скиталось там, несмотря на зимний холод, все время, покуда длилась процедура отвоза. Тем, которых застигали врасплох или излавливали, набивали на ноги колодки, надевали железные поручни или приковывали к «стулу» (так называлось толстое бревно, сквозь которое продета была железная цепь, оканчивавшаяся железным ошейником). Я думаю, что в некоторых старинных помещичьих гнездах эти орудия пытки сохранились и поднесё, во свидетельство прошлого.

Самая барщина представляла ряд распоряжений, которые даже в то не знавшее законов время считались незаконными. Закон требовал, чтобы три дня в неделю крестьянин работал на помещика, а остальные три дня предоставлял ему для собственных работ. Но у редких помещиков барщина отбывалась «брат на брата»; у большинства – совсем не велось никакого учета, или же последний велся смотря по состоянию погоды и по другим хозяйственным соображениям. При продолжительном ненастье первые ведренные дни отдавались исключительно барщине, причем предполагалось, что крестьяне уже воспользовались «своими днями» прежде, и т. д. Словом сказать, нельзя не только было разобраться в этом хаосе, но и определить, как изворачивается крестьянин, как он устраивается на зиму и чем живет. Но он жил – это считалось достаточным.

И было время, когда все эти ужасающие картины никого не приводили в удивление, никого не пугали. Это были «мелочи», обыкновенный жизненный обиход, и ничего больше; а те, которых они возмущали, считались подрывателями основ, потрясателями законного порядка вещей.

Да, видно, каждая эпоха имеет свои мелочи, свой собственный мучительный аппарат, при посредстве которого люди без особых усилий доводятся до иступления.

Но что всего замечательнее: даже тогда, когда само правительство обращало внимание на злоупотребления помещичьей власти и подвергало их исследованию, – даже тогда помещики решались, хоть косвенным образом, протестовать в пользу «мелочей». При так называемых повальных обысках соседи-помещики заявляли, что поступки злоупотребителя не выходят из категории действий, без которых немислимы ни порядок, ни доброе хозяйство; а депутатское собрание, основываясь на этих отзыхах, оставляло дело без последствий. Таким образом, и те редкие попытки, которые предпринимались для смягчения крепостных уз, пропадали даром.

Это до такой степени верно, что в позднейшие времена мне случалось слышать от некоторых помещиков, уже захудалых и бесприютных, такого рода наивные ретроспективные жалобы:

– Кабы мы в то время были умнее да не мирволили бы своим расхордившимся собратам, так, может быть, и теперь крепостное право существовало бы по-прежнему!

Как же, дожидайтесь!

* * *

Накануне крестьянского освобождения, когда в наболевшие сердца начал уже проникать луч надежды, случилось нечто в высшей степени странное. Правительственные намерения были уже заявлены; местные комитеты уже начали свою тревожную работу; но старые порядки, даже в самых вопиющих своих чертах, еще не были упразднены. Благодаря этому упущению,

несмотря на неизбежность грядущей «катастрофы», как тогда называли освобождение, крепостные отношения не только не смягчались, но еще более обострились.

Помещики потеряли всякую почву под ногами и взамен того приобрели дар прозорливости. Провидели будущих грубиянов и смутителей, припоминали прежние провинности, следили за выражением физиономий, истолковывали телодвижения и улыбки, видели тревожные сны, верили в гаданья и т. д. Словом сказать, образовался целый помещичий бред, имевший целью обеспечить спокойствие в будущем. И так как старый закон не был упразднен, то обеспечение представлялось делом легким и удобоисполнимым. А именно, в распоряжении помещика находилось два очень простых средства: рекрутчина и ссылка в Сибирь «по воле помещика» (так эта операция и называлась).

На этот раз помещики действовали уже вполне бескорыстно. Прежде отдавали людей в рекруты, потому что это представляло хорошую статью дохода (в Сибирь ссылали редко и в крайних случаях, когда уже, за старостью лет, провинившегося нельзя было сдать в солдаты); теперь они уже потеряли всякий расчет. Даже тратили собственные деньги, лишь бы успокоить взбудораженные паникою сердца.

Это было уже в 1859 году, и я служил тогда в одной из ближайших к Москве губерний. В то же время в одном из уездных городов процветал и имел громадную фабрику купец Чумазый. Он очень ловко воспользовался паникою, овладевшею помещичьей средою, и предлагал желающим очень выгодную сделку. Сделка состояла в том, что крестьянам и дворовым людям, тайно от них, давалась «вольная», и затем, тоже без их ведома, от имени каждого, в качестве уже вольноотпущенного, заключался долгосрочный контракт с хитроумным фабрикантом. Все это за дешевую плату легко оборудовал местный уездный суд, несмотря на то, что в числе кабаливших себя были и грамотные.⁴ И вольная и контракты прямо отданы были в руки фабриканту; кабаленные же полагали, что над ними проделяваются остатки старых порядков и что помещик просто отдал их в работы, как это делывалось и прежде. Затем, разумеется, они надеялись, что завтрашняя свобода сама собой снимет с них оковы сегодняшнего рабства и освободят от насильственных обязательств.

Для помещиков эта операция была, несомненно, выгодна. Во-первых, Чумазый уплачивал хорошую цену за одни крестьянские тела; во-вторых, оставался задаром крестьянский земельный надел, который в тех местах имеет значительную ценность. Для Чумазого выгода заключалась в том, что он на долгое время обеспечивал себя дешевой рабочей силой. Что касается до кабаляемых, то им оставалась в удел надежда, что невзгода настигает их... в последний раз!

Однако же дело раскрылось раньше, нежели на это рассчитывали. Объявлена была девятая народная перепись, и все так называемые вольные немедленно обязаны были приобрести себе права состояния и приписаться к мещанскому обществу города Z.

— Мы не вольноотпущенные! — возопили они в один голос, — мы на днях сами будем свободные... с землей! Не хотим в мещане!

И вслед за этим нагрянули целой толпой в губернский город с жалобами на то, что накануне освобождения их сделали вольными помимо их желания.

Началось следствие, и тут-то раскрылись поползновения Чумазого, в то время только что начинавшего раскидывать сети на всю Россию.

Дело наделало шума; но даже в самый разгар эмансипационных надежд редко кто усмотрел его вопиющую сущность. Большинство культурных людей отнеслось к «нему как к „мелочи“, более или менее остроумной.

В клубе раздавался неудержимый хохот.

⁴ По закону уездный суд обязан был вручить вольную каждому отпускаемому лично, в присутствии суда, и опросить, желает ли он быть вольным. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– Однако догадлив-таки Петр Иванович! – говорил один про кого-нибудь из участвовавших в этой драме: – сдал деревню Чумазому – и прав... ха-ха-ха! – Ну, да и Чумазому это дело не обойдется даром! – подхватывал другой, – тут все канцелярские крысы добудут ребятишкам на молочишко... ха-ха-ха! – Выискивались и такие, которые даже в самой попытке защищать закабаленных увидели вредный пример посягательства на освященные веками права на чужую собственность, чуть не потрясение основ.

– Шутка сказать! – восклицали они, – накануне самой „катастрофы“ и какое дело затеяли! Не смеет, извольте видеть, помещик оградить себя от будущих возмутителей! не смеет распорядиться своею собственностью! Слава богу, права-то еще не отняли! что хочу, то с своим Ванькой и делаю! Вот завтра, как нарушите права, – будет другой разговор, а покуда аттанде-с!

Чумазый тоже горько жаловался на постигшее его злоключение.

– Помилуйте! – говорил он, – мы испокон века такие дела делали, завсегда у господ людей скупали – иначе где же бы нам работников для фабрики добыть? А теперь, на-тко, что случилось! И во сне не гадал!

Само начальство, возбуждившее преследование, едва ли не раскаивалось: все-таки хлопоты.

Чем кончилось это дело, я не знаю, так как вскоре я оставил названную губернию. Вероятно, Чумазый порядочно оплатился, но затем, включив свои траты в графу: „издержки производства“, успокоился. Возвратились ли закабаленные в „первобытное состояние“ и были ли вновь освобождены на основании Положения 19-го февраля, или поднесь скитаются между небом и землей, оторванные от семей и питаюсь горьким хлебом поденщины?

* * *

Рассказывая изложенное выше, я не раз задавался вопросом: как смотрели народные массы на опутывавшие их со всех сторон бедствия? – и должен сознаться, что пришел к убеждению, что и в их глазах это были не более как „мелочи“, как искони установившийся обиход. В этом отношении они были вполне солидарны со всеми кабальными людьми, выросшими и состаревшимися под ярмом, как бы оно ни гнело их. Они привыкли.

Было время, когда люди выкрикивали на площадях: „слово и дело“, зная, что их ожидает впереди застенок со всеми ужасами пытки. Нередко они возвращались из застенков в „первобытное состояние“, живые, но искалеченные и обезображенные; однако это нимало не мешало тому, чтобы у них во множестве отыскивались подражатели. И опять появлялось на сцену „слово и дело“, опять застенки и пытки... Словом сказать, целое поветрие своеобразных „мелочей“.

Правда, что массы безмолвны, и мы знаем очень мало о том внутреннем жизненном процессе, который совершается в них. Быть может, что продлившееся их ярмо совсем не представлялось им мелочью; быть может, они выносили его далеко не так безучастно и тупо, как это кажется по наружности... Прекрасно; но ежели это так, то каким же образом они не вымирали сейчас же, немедленно, как только сознание коснулось их? Одно сознание подобных мук должно убить, а они жили.

Поколения нарастали за поколениями; старики населяли сельские погосты, молодые хоронили стариков и выступали на арену мучительства... Ужели все это было бы возможно, ежели бы на помощь не приходило нечто смягчающее, в форме исконного обихода, привычки и представления о неизбывных „мелочах“?

Шли в Сибирь, шли в солдаты, шли в работы на заводы и фабрики; лили слезы, но шли... Разве такая солидарность со злосчастьем мыслима, ежели последнее не представляется обыкновенною мелочью жизни? И разве не правы были жестокие сердца, говоря: „Помилуйте! или вы не видите, что эти люди живы? А коли живы – стало быть, им ничего другого и не нужно“...

Я мог бы привести здесь примеры изумительнейшей выносливости, но воздерживаюсь от этого, зная, что частные случаи очень мало доказывают. Общее настроение общества и масс – вот главное, что меня занимает, и это главное свидетельствует вполне убедительно, что мелочи управляют и будут управлять миром до тех пор, пока человеческое сознание не вступит в свои права и не научится различать терзающие мелочи от баттенберговских.

Когда наступит пора для этого различения? – кто может это угадать! Но сдается, что придется еще пережить эпоху чумазовского торжества, чтобы понять всю глубину обступившего массы злосчастия. А что Чумазый будет держаться за свое торжество упорно – за это ручаются его откровенно-нахальные замашки и самоуверенная бессовестность.

Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны, к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пущенного им в оборот алтына. Таков современный чумазый. Повторяю то, что я уже сказал в предыдущей главе: русский чумазый перенял от своего западного собрата его алчность и жалкую страсть к внешним отличиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни трудолюбия. Либо пан, либо пропал, – говорит он себе, и ежели легкая нажива не удастся ему, то он не особенно ропщет, попадая вместо хором в навозную кучу.

Русский крестьянин, который так терпеливо вынес на своих плечах иго крепостного права, мечтал, что с наступлением момента освобождения он поживет в мире и тишине и во всяком благом поспешении; но он ошибся в своих скромных надеждах: кабала словно приросла к нему. Чумазый преподнес ее ему на новоселье в новой форме, но с содержанием горшким против старой. Старая форма давала раны, новая – дает скорпионы; старая – томила барщиной и произволом (был, впрочем, очень значительный разряд помещичьих имений, оброчных, где крестьянин не знал барщины и жил, сравнительно, довольно льготно). Новая – донимает голодом, Чумазый вторгся в самое сердце деревни и преследует мужика и на деревенской улице, и за околицей. Обставленный кабаком, лавочкой и грошовой кассой ссуд, он обмеривает, обвешивает, обсчитывает, доводит питание мужика до минимума и в заключение взывает к властям об укрощении людей, взволнованных его же неправдами. Поле деревенского кулака не нуждается в наемных рабочих: мужик обработает его не за деньги, а за процент или в благодарность за „одолжение“. Вот он, дом кулака! вон он высится тесовой крышей над почерневшими хижинами односельцев; издалека видно, куда скрылся паук и откуда он денно и ночью стелет свою паутину.

Хиреет русская деревня, с каждым годом все больше и больше беднеет. О „добрых щах и браге“, когда-то воспетых Державиным, нет и в помине. Толокно да тюря; даже гречневая каша в редкость. Население растет, а границы земельного надела остаются те же. Отхожие промыслы, благодаря благосклонному участию Чумазого, не представляют почти никакого подспорья.

Период помещичьего закрепощения канул в вечность; наступил период закрепощения чумазовского...

V

И нельзя сказать, чтобы не было сделано усилий к ограждению масс от давления жизненных мелочей. Конечно, не мелочей нравственного порядка, для признания которых еще и теперь не наступило время, а для мелочей материальных, для всех одинаково осязаемых и наглядных. И за то спасибо.

Вспомните дореформенное административное устройство (я не говорю о судах, которые были безобразны), и вы найдете, что в нем была своего рода стройность. Не скажу, чтобы в результате этого строя лежала правда, но что вся совокупность этого сложного и искусственно-соображенного механизма была направлена к ограждению от неправды – это несомненно. Жандарм утирал слезы; прокурор с целой армией стряпчих собирал слезы в урны. Затем и платки и урны отсылались по начальству; начиналась переписка, запросы; требовались объяснения; нередко оказывались и видимые последствия этих объяснений в форме увольнений, отдачи под суд и т. д. Самая администрация имела организацию коллегиальную, каждый член которой тоже утирал слезы и собирал их в урну. Не больше как лет тридцать тому назад даже было строго воспрещено производить дела единолично и не в коллегии. Словом сказать, сказывалось бесспорное усилие оградить провинцию от скверны личного произвола.

Сколько тогда одних ревизоров было – страшно вспомнить! И для каждого нужно было делать обеды, устраивать пикники, катанья, танцевальные вечера. А уедет ревизор – смотришь, через месяц записка в три пальца толщиной, и в ней все неправды изложены, а правды ни одной, словно ее и не бывало. Почесывают себе затылок губернские властелины и начинают изворачиваться.

– Это в благодарность за мои обеды! – молвит один.

– А я еще ему на дорогу целый коробок с провизией послал! – ответит другой.

Но, делать нечего, отписываться все-таки приходилось. И отписывались...

Каждые два года приезжал к набору флигель-адъютант, и тоже утирал слезы и подавал отчет. И отчеты не об одном наборе, но и обо всем виденном и слышанном, об управлении вообще. Существует ли в губернии правда или нет ее, и что нужно сделать, чтоб она существовала не на бумаге только, но и на деле. И опять запросы, опять отписки...

Я не говорю уже о сенаторских ревизиях, которые назначались лишь в крайних случаях и производили сущий погром. Ни одна метла не мела так чисто, как мел ревизующий сенатор. Камня на камне не оставалось; чины, начиная от губернатора до писца низших инстанций, увольнялись и отдавались под суд массами, хотя обеды, вечера и пикники шли своим чередом. Сенатор приезжал с целой свитой, и каждый член этой свиты старался что-нибудь запримечать, кого-нибудь подсадить. Иногда даже без особенной надобности, а только чтобы выполнить задачу утирания слез... и, может быть, чтобы положить основание своей будущей карьере.

И вдобавок в те времена не было речи ни о благонамеренности, ни об образе мыслей, ни о подрывании основ и т. д. Ничего подобного и не подозревали. Просто прислушивались, не плачет ли кто, и ежели до слуха доходило нечто похожее на плач, то поспешали на помощь. "Рекрутство сопровождается несправедливостями и подкупом; повинности выполняются неправильно и беспорядочно; следственные дела представляют картину сплошного взыточничества" – вот и все, о чем тогда говорилось и писалось. Но разве этого мало? Помилуйте! да если бы ко всему этому прибавить еще «неблагонадежность», то вышло бы настоящее вавилонское столпотворение...

Однако ж все-таки оказывалось, что мало, даже в смысле простого утирания слез; до такой степени мало, что нынче от этой хитросплетенной организации не осталось и воспоминаний. Ревизоры приезжали и уезжали; на место их приезжали другие ревизоры и тоже уезжали; губернские чиновные кадры убывали и вновь пополнялись, а слезы все капали да капали...

Ныне и платки и урны сданы в архивы, где они и хранятся на полках, в ожидании, что когда-нибудь найдется любитель, который заглянет в них и напишет два-три анекдота о том, как утирание слез постепенно превращалось в наплевание в глаза. Словно белка в колесе, вертелся этот взаимный административный контроль, ничего не защищая и не обеспечивая, кроме форм и обрядов. В результате оказывалось нечто вроде игры в *casse-tete*,⁵ где каждая фигурка плотно вкладывается в другую, покуда не образуется нечто целое, долженствующее выполнить из кучи кусочков нарисованную в книжке фигуру, не имеющую никакого значения вне процесса игры. Кончилась игра, надоела; спрятали кусочки в коробку – и будет.

Я слишком достаточно говорил выше (III) о современной административной организации, чтобы возвращаться к этому предмету, но думаю, что она основана на тех же началах, как и в былые времена, за исключением коллегий, платков и урн. К последним административным приемам ныне относятся уже иронически, предпочитая строгость и скорость и оправдывая это предпочтение рождением неблагонадежных элементов. Но так как закон упоминает о татях, разбойниках, расхитителях, мздоимцах и проч., а неблагонадежные элементы игнорирует, то можно себе представить, каким разнообразным и неожиданным толкованиям подвергается это новоявленное выражение.

Впрочем, я отнюдь не хочу утверждать, чтобы нынешняя администрация была плоха, нерасторопна и не способна к утиранию слез; я говорю только, что она, подобно своей предшественнице, лишена творческой силы.

Не утверждаю также, что так называемые неблагонадежные элементы существуют только в взбудораженных воображениях охранителей. Всякий порядок вещей хранит в своих недрах и споспешествующие элементы, и неспоспешествующие. Первые прозываются – благонадежными; вторым присваивают наименование неблагонадежных. Все это не только не противоречит истине, но и вполне естественно. Поэтому примириться с этим явлением необходимо, и вся претензия современного человека должна заключаться единственно в том, чтобы оценка подлежащих элементов производилась спокойно и не чересчур расторопно. Недостаточно сказать: вот (имярек) неблагонадежный элемент! – надо еще доказать, действительно ли он неблагонадежен и по отношению к чему.

Может быть, сам по себе взятый, он совсем не так неблагонадежен, как кажется впопыхах. В дореформенное время, по крайней мере, не в редкость бывало встретить такого рода аттестацию: "человек образа мыслей благородного, но в исполнении служебных обязанностей весьма усерден". Вот видите ли, как тогда правильно и спокойно оценивали человеческую деятельность; и благороден, и казенного интереса не чужд... Какая же в том беда, что человек благороден?

Очевидно, что надежда на внешнюю помощь, в смысле удаления терзающих мелочей, навсегда останется тщетною. Все в этом деле зависит от подъема уровня общественного сознания, от коренного преобразования жизненных форм и, наконец, от тех внутренних и материальных преуспеваний, которые должны представлять собой постепенное раскрытие находящихся под спудом сил природы и усвоение человеком результатов этого раскрытия. Исчезновение призраков – вот существеннейшая задача, к осуществлению которой естественно и неизбежно должно прийти человечество, чтобы обеспечить себе спокойное развитие в будущем.

Старинные утописты были вполне правы, утверждая, что для новой жизни и основания должны быть даны новые и что только при этом условии человечество освободится от удручающих его зол. Они наглядно рисовали картины новой жизни, вводили в самые недра ее, показывали ее в полном действии. Влияние утопистов на общество чувствуется и теперь, хотя и до сих пор задача о новых основаниях заставляет метаться человечество в унынии и безнадежно-

⁵ головоломку (франц.)

сти. Жажда жизни пожирает сердца, но, в конце концов, дает очень мало удовлетворения и требует слишком много жертв.

Ошибка утопистов заключалась в том, что они, так сказать, усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли, может создать свое конечное благополучие. Между тем человечество искони связано с природой неразрывной связью и, сверх того, обладает прикладною наукой, которая с каждым днем приносит новые открытия. Фурье провидел ненужных антильвов и антиакул и не провидел ни железных дорог, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели антильвы. Его смущал вопрос об удалении нечистот из помещений фаланстеров, и для разрешения его он прибегнул к когортам самоотверженных, тогда как в недалеком будущем дело устроилось проще – при помощи ватерклозетов, дренажа, сточных труб и, наконец, целого подземного города, образец которого мы видим в катакомбах Парижа. В заключение он думал, что комбинированная им форма общежития может существовать во всякой среде, не только не рискуя быть подавленной, но и подготавливая своим примером к восприятию новой жизни самых закоренелых профанов, – и тоже ошибся в расчетах. Затем, большинство его последователей было таково, что придерживалось именно буквы учения и, в особенности, настаивало на его подробностях. В результате оказалось явное противоречие с беспрерывно нарастающими жизненными требованиями, а за противоречием последовало недоверие, смех надругательства. Великие основные идеи о привлекательности труда, о гармонии страстей, об общедоступности жизненных благ и проч. были заслонены провидениями, регламентацией и, в конце концов, забыты или, по крайней мере, рассыпались по мелочам.

Тем не менее идея новых оснований для новой жизни, – идея освобождения жизни, исключительно при помощи этих новых оснований, от мелочей, делающих ее постылою, остается пока во всей своей силе и продолжает волновать мыслящие умы. Но к ней прибавилась и еще бесспорная истина, что жизнь не может и не должна оставаться неподвижною, как бы ни совершенны казались в данную минуту придуманные для нее формы; что она идет вперед и развивается, верная общему принципу, в силу которого всякий новый успех, как в области прикладных наук, так и в области социологии, должен принести за собою новое благо, а отнюдь не новый недруг, как это слишком часто оказывалось доньше.

Что история изобретений, открытий и вообще борьбы человека с природой и доньше представляет собой сплошной мартиролог, с этим согласится каждый современный человек, если в нем есть хоть капля правдивости. Железные дороги уничтожают на протяжении своем целую серию промыслов, дававших цветение и жизнь. Села и деревни пустеют; население бежит; дома, дававшие приют массе путников, уныло стоят с заколоченными ставнями; лошади и другой скот сбываются за бесценок; наконец появляется особая категория дотоле неизвестных преступных деяний. Новая ткацкая машина, новый плуг, сенокосилка, жнея – все это угоняет меньшинство и обездоливает целые массы рабочих сил. Конечно, пройдут десятки лет, и массы приобьют, найдут новые источники существования, так что, в общем, изменение произойдет даже к лучшему. Но ведь эти десятки лет надо прожить.

И таким образом идет изо дня в день с той самой минуты, когда человек освободился от ига фатализма и открыто заявил о своем праве проникать в заветнейшие тайники природы. Всякий день непредвидимый недуг настигает сотни и тысячи людей, и всякий день "благополучный человек" продолжает твердить одну и ту же пословицу: "Перемелется – мука будет". Он твердит ее даже на крайнем Западе, среди ужасов динамитного отмщения, все глубже и шире раздвигающего свои пределы.

Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Искон-

ное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми.

В особенности на Западе (во Франции, в Англии) попытки отдалить момент общественного разложения ведутся очень деятельно. Предпринимаются обеспечивающие меры; устраиваются компромиссы и соглашения; раздаются призывы к самопожертвованию, к уступкам, к удовлетворению наиболее вопиющих нужд; наконец, имеются наготове войска. Словом сказать, в усилиях огородиться или устроить хотя временно примирение с «диким» человеком недостатка нет. Весь вопрос – будут ли эти усилия иметь успех?

На мой взгляд, желанный успех не только сомнителен, но и прямо невозможен. Выражу здесь мою мысль вполне откровенно. Чем больше делается попыток в смысле компромиссов, чем больше возлагается надежд на примирение, тем выше становится уровень требований противной стороны. Это аксиома, быть может, очень утешительная, но все-таки аксиома. Поневоле приходится отказаться от попыток и оставить дело в том виде, в каком застала его минута. Но, с другой стороны, и оставить мудрено. Нутро заинтересовано, – поймите: нутро! Сердце бьется, весь организм болит, как тут не заговорить! А при этом приличие требует оставаться, хоть наружно, спокойным, казаться доброжелательным, действительно жаждущим примирения без задней мысли: завтра, дескать, посмотрим! Тщетно! завтрашний день настанет при тех же условиях, как и сегодняшний; завтра выступят те же требования и та же бесконечная канитель переговоров... Эта перспектива раздражает еще сильнее.

Спрашивается, однако ж: что делать, чтоб устранить грядущую смуту?

Повторяю: я выражаю здесь свое убеждение, не желая ни прать против рожна, ни тем менее дразнить кого бы то ни было. И сущность этого убеждения заключается в том, что человечество бессрочно будет томиться под игом мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы в обсуждении идеалов будущего. Только одно это средство и может дать ощутительные результаты.

Господствующее мнение, руководимое политиками, не только у нас, но и в целой Европе, не признает, однако ж, этой истины. Политиканы охотнее допускают расширение свободы в обсуждении задач политических, нежели социальных. Последние считаются не только преждевременными и ни к чему не ведущими, но и положительно опасными. Самая постановка их будто бы равносильна посягательству на существующий порядок вещей, возбуждению дурных страстей и несбыточных надежд. Ежели и политические новшества влекут за собой зло, не легко поправимое, то, по крайней мере, они скользят по поверхности, не затрагивая коренных основ, на которых искони зиждутся общество и государство. Напротив того, новшества социальные проникают в самую глубь масс, порождают в них озлобление, будят инстинкты зависти и алчности и, наконец, вызывают на открытую борьбу. Одним словом, вред, принесенный старинными утопистами и их позднейшими последователями, сделался, в глазах политиканов, настолько ясен, что поощрять утопию и даже оставаться к ней равнодушным не представляется никакой возможности.

Нельзя не признать, что в этом суждении есть известная доля правды, и именно в том, что касается политических новшеств. Последние действительно только скользят по поверхности, перемещая центр власти из одних рук в другие (от Баттенберга к Меренбергу и т. д.) и отчасти расширяя (впрочем, очень умеренно) кадры правящих классов. В массы народные они проникают в виде отдаленного гула, не изменяя ни одной черты ни в их быте, ни в их благосостоянии. Поэтому массы относятся к подобным новшествам не только равнодушно, но и с удивлением, не понимая, почему у кормила понадобился в данную минуту Гизо, а Тьер оказался ненужным.

Напротив, то же господствующее мнение оказывается совершенно неправым относительно новшеств социологических. И не право оно, во-первых, потому, что в основании социологических изысканий лежит предусмотрительность, которая всегда была главным и существенным основанием развития человеческих обществ, и, во-вторых, потому, что ежели и

справедливо, что утопии производили в массах известный переполох, то причину этого нужно искать не в открытом обсуждении идеалов будущего, а скорее в стеснениях и преследованиях, которыми постоянно сопровождалось это обсуждение.

Встречаются и поныне люди, на которых простое напоминание о праве человека масс на участие в благах жизни производит действие пытки. Но это уже дело личного темперамента или старинного, вкоренившегося предрассудка – и ничего больше. Если б эти люди умели рассуждать, если б они были в состоянии проникать в тайны человеческой природы, то они поняли бы, что одну из неизбежных принадлежностей этой природы составляет развитие и повышение уровня нравственных и материальных потребностей. Немыслимо, чтобы человек смотрел и не видел, слушал и не слышал, чтоб он жил как растение, цветы или увядая, смотря по уходу, который ему дается, независимо от его деятельного участия в нем.

Самая наглядная очевидность требует, чтоб общественные вопросы всегда стояли на очереди и постоянно подвергались разработке. Нет нужды, что разработка эта не обойдется без ошибок и заблуждений – при открытом обсуждении не только ошибки, но и самые нелепости легко устраняются при помощи полемики. Во всяком случае, такое обсуждение представляет гораздо менее риска, нежели тайны общества и подземная работа нарастающих общественных элементов, которые, при отсутствии света и воздуха, невольным образом обостряются и приобретают угрожающий характер.

Затем естественно возникает вопрос: если уж нельзя не ощущать паники при одном слове «новшества», то какие из них заключают в себе наибольшую сумму угроз: политические или социальные?

На мой взгляд – первые. Прежде всего, они почти всегда настигают общество внезапно; сверх того, сравнительно бедные результатами, они непосредственно затрагивают личные интересы и уязвляют личные честолюбия. Повторяю: они перемещают центры власти, в ущерб или к выгоде немногих заинтересованных личностей, но без существенной пользы для масс. Напротив того, социальные новшества ежели и не влекут за собой прямого освобождения масс от удручающих мелочей, то представляют собой непрерывную подготовку к такому освобождению.

Подготовка эта, без сомнения, получит вполне спокойное развитие, если при этом не будет встречаться внешних усложнений. А для этого нужно только терпение и свобода от предрассудков – ничего больше.

Сами массы совсем не так нетерпеливы и не представляют чересчур несоразмерных требований, как об этом привыкли вопиять встревоженные умы. Прислушайтесь к этим требованиям, и вы без труда убедитесь, что даже maximum их, сравнительно, не очень велик. И причина этой умеренности очень проста: человеку масс неоткуда взять идеалов роскоши, пресыщения и даже простого довольства, – он не знает их. Все его желания по части новшеств ограничиваются лишь тем, что составляет действительную и неотложную нужду. Парижский рабочий не мечтает ни о раках *a la bordelaise*, ни о житье в просторных палаццо, среди роскошной обстановки; но он, конечно, не откажется ни от *choucroute*,⁶ ни от светлого и хорошо вентилированного помещения. Неприязательность этой претензии уже начинает уясняться для самих политиканов, и предусмотрительнейшие из них не отказываются от попыток в смысле их удовлетворения. Только попытки эти представляют собой каплю в море и потому достигают лишь очень немногих частных результатов.

Само собой, впрочем, разумеется, что я говорю здесь вообще, а отнюдь не применительно к России. Последняя так еще молода и имеет так много задатков здорового развития, что относительно ее не может быть и речи о каких-либо новшествах.

⁶ кислой капусты (франц.)

Итак, терпение, милостивые государи! Терпение с небольшою прибавкой доброжелательства и решимости разрешать назревающие вопросы жизни не одной постановкой обнаженного *fin de non recevoir*,⁷ но и с участием свободного анализа.

⁷ отказа дать делу законный ход (франц.)

I. НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УХИЩРЕНИЙ

1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЖИЧОК

Известно ли читателю, как поступает хозяйственный мужик, чтоб обеспечить сытость для себя и своего семейства? О! это целая наука. Тут и хитрость змия, и изворотливость дипломата, и тщательное знакомство с окружающей средой, ее обычаями и преданиями, и, наконец, глубокое знание человеческого сердца.

Прежде всего он начинает с самого себя, с своей семьи, с работника или работницы, ежели у него есть, с людей, созываемых на помочи, и т. д. И главная забота его заключается в том, чтоб этот рабочий улей как можно умереннее потреблял еды и в то же время был достаточно сыт, чтобы устоять в непрерывной работе. Первый предмет, представляющий его внимание, – хлеб. Он не подает на стол мягкого хлеба, а непременно черствый – почему? – потому что черствый хлеб спорее; мягкого хлеба вдвое съешь. Затем он круглый год льет в кашу не коровье масло, а конопляное, хотя первое можно найти дома, а второе нужно купить, и оно обойдется почти не дешевле коровьего – почему? – потому что налей мужику коровьего масла, он вдвое каши съест. Свежую убоину он употребляет только по самым большим праздникам, потому что она дорога, да в деревне ее, пожалуй, и не найдешь, но главное потому, что тут уж ему не сладить с расчетом: каково бы ни было качество убоины, мужик набрасывается на нее и наедается ею до пресыщения. Одно средство, за редкими исключениями, совсем изгнать ее из насыщающего обихода.

Не менее мудро поступает он и с гостями во время пирований, которые приходится на большие праздники, как рождество, пасха или престольные, и на такие семейные торжества, как свадьба, крестины, именины хозяйки и хозяина. Он прямо подносит приходящему гостю большой стакан водки, чтобы он сразу захмелел.

– Как поднесу я ему стакан, – говорит он, – его сразу ошеломит; ни пить, ни есть потом не захочется. А коли будет он с самого начала по рюмочкам пить, так он один всю водку сожрет, да и еды на него не напасешься.

Скотину он тоже закармливает с осени. Осенью она и сена с сырцой поест, да и тело скорее нагуляет. Как нагуляет тело, она уж зимой не много корму запросит, а к весне, когда кормы у всех к концу подойдут, подкинешь ей соломенной резки – и на том бог простит. Все-таки она до новой травы выдержит, с целыми ногами в поле выйдет.

Таковы характеристические черты крестьянского хозяйственного быта, те черты, которыми определяется дальнейшее его жизнестроительство. Голова скромного хозяйственного мужичка не знает отдыха; с утра до вечера она занята всевозможными устроительными подробностями. Много лежит на нем обязанностей: прежде всего нужно, конечно, определить крайний minimum, чтобы прокормить себя и семью; потом – подумать об уплате денежных сборов и отыскать средства для выполнений этой обузы; наконец, ежели окажутся лишки, то помечтать и о так называемой "полной чаше". Но расчеты его чересчур часто нарушаются. Беспреданно встречаются экстренные расходы; то свадьба в доме, то крестины – все это составляет предмет мучительных забот. Мужику все нужно; но главнее всего нужна предусмотрительность, умение заблаговременно приготовиться и запастись, способность изнуряться, не жалеть личного труда, лишь бы как можно меньше истратить денег.

Деньги – это кровная язва крестьянского быта. Дома крестьянин очень мало в них нуждается – только на соль, да вино, да на праздничную убоину. От времени до времени требуется

сшить девушке-невесте ситцевый сарафан, купить платок, готовый шугайчик; по возвращении из поездки в город хочется побаловать ребят калачом или баранками. В кои-то веки он купит праздничный армяк синего сукна для себя и недорогой материи на сарафан для жены. Вот и вся его домашняя денежная трата. Остальное он должен добыть на уплату всевозможных сборов.

Ради них он обязывается урвать от своего куска нечто, считающееся «лишним», и свезти это лишнее на продажу в город; ради них он лишает семью молока и отпаивает теленка, которого тоже везет в город; ради них он, в дождь и стужу, идет за тридцать – сорок верст в город пешком с возом «лишнего» сена; ради них его обсчитывает, обмеривает и ругает скверными словами купец или кулак; ради них в самой деревне его держит в ежовых рукавицах мироед. Самого его не только не тянет к мироедству, но он и способностей к нему не имеет: он просто толковый и хозяйственный мужик.

Не удивительно, стало быть, что он весь погружен в одну думу: спасти себя и присных.

И он настолько привык к этой думе, настолько усвоил ее с молодых ногтей, что не может представить себе жизнь в иных условиях, чем те, которые как будто сами собой создались для него. Он идет за возом в город, думает и в то же время ищет глазами. Подкова на дороге валяется – он ее за пазуху спрячет (найденная подкова предвещает счастье); бумажку кто-нибудь обронил, окурочек папироски – он и их поднимет; даже клочок навоза кинет в телегу и привезет домой. Сегодня клочок, завтра клочок – смотришь, ан и целый возок наберется. В городе он отстаивает себя до последней крайности, но почти всегда без успеха, потому что городская обстановка ошеломляет его; там всё бары живут да купцы, которые тоже барами смотрят, – чуть что, и городской к ним на помощь подоспеет, в кутузку его, сиволапого, потащат. Где ему, темному и безграмотному мужику, спастись от всех ловушек, которые специально для него расставлены? Поэтому он продает свой товар по произвольно установленной цене, наскоро кормит лошадей и, сделавши необходимые закупки, спешит засветло доехать домой. Здесь он рассчитывает себя, откладывает гроши к грошам, разглаживает и рассматривает на свет скомканые ассигнации и прячет выручку в заветную кубышку. В большинстве случаев оказывается, что получка далеко не оправдывает ожиданий.

Подобные неудачи встречаются очень часто и до боли его трогают. Но они от него не зависят: все равно, застигнут ли они его или благополучно пройдут мимо, – все равно, ему и еще, и еще придется идти им навстречу и подчиниться. Надо, стало быть, забыть о неудачах и стараться наверстать на чем-нибудь другом. И он, не успевши отдохнуть с дороги, обходит двор, осматривает, все ли везде в порядке, задан ли скоту корм, жиреет ли поросенок, которого откармливают на продажу, не стерлась ли ось в телеге, на месте ли чеки, не подгнили ли слуги на крыше двора, можно ли надеяться, что вон этот столб, один из тех, которые поддерживают двор, некоторое время еще простоит. Он берет в руки топор и до самого ужина стучит им и облаживает замеченные огрехи. Словом сказать, спасает себя.

В свое время он припасается, стараясь прежде всего вырвать то, что достается задаром, а потом уже думает о том, чтобы как можно дешевле приобрести то, чего нельзя достать иначе, как за деньги. Летом овраг, разделяющий деревню на две половины, совсем засыхает; но в весеннее половодье он наполняется до краев водою, бурлит и шумит. Из соседней речки Пишковки заходит туда рыба: головли, ерши, язи, плотва, окуни, щуки. Заботливый хозяин пользуется этим даровым прибытком и ставит верши. Он больше всего радуется щуке, которая хоть и костлява, но зато попадает крупного размера и притом годна к солке впрок. Он наполняет ею все кадочки и бочонки, какие только найдутся в доме, и в продолжение всего лета лакомит себя, семью и домочадцев соленою рыбкой. Рыба тверда, почти несъедобна, но зато она спора, ее меньше съедят – и это все, что требуется доказать. Притом же на стол ставится чашка не с пустыми щами, а щи с рыбой; а это означает тороватость. Про такого мужика говорят: "он живет торовато, у него щи с рыбой едят". И работники идут к нему охотнее, и помочь он скорее сберет.

Весной же он запасается солониной. Прослышит, что где-нибудь корова от бескормицы еле жива, а владельца этой коровы сборами нажимают, устроится с тремя-четырьмя другими заботливыми хозяевами в складчину, и купят коровью мясную тушу за пять рублей. В ней больше костей, нежели мяса, да и мясо неуварищенное, точно мочало, а все-таки мало-мало двенадцать пудов этого мяса найдется – пуд-то обойдется каких-нибудь сорок копеек. И вот у него на все лето солонины хватит. За неимением погребов, солонина зарывается в землю, но к наступлению летнего мясоеда все-таки сильно припахивает; но это делает ее еще спорее. Мужик и с запашком убоину съест, но, разумеется, меньше, нежели если б она была совсем свежая. Стало быть, и тут выгода.

Главное, поддержать в исправности силы, необходимые для летней страды. Не наедаться, а именно только в меру себя поддерживать. А как и чем этого достигнуть – вопрос второстепенный.

Летом мужик весь в работе. Ленивый и захудалый мужичонко – и тот не сходит с полосы, а хозяйственный мужичок просто-напросто мрет на ней. Он почти не спит; ложится поздно, встает с зарей (по вечерней и утренней заре косить траву спорее) и спешит на работу. Вечно тревожимый думою о насущном хлебе, он набрал у соседнего помещика пустошных покосов исполу и даже из третьей копны, косит до глубокой осени и только с большой натугой успевает справиться с работой. И жена, и взрослые дети – все мучатся хуже каторги; даже подростки – и те разделяют общую страдную муку. Зато в конце августа он уже может рассчитать, что своего хлеба у него хватит до масленой. Но сена вдоволь: есть чем и скотину прокормить и на сторону продать можно. Сено – главная его надежда. Земельный надел так ограничен, что зернового хлеба сеется малость; сена же он может добыть задаром, то есть только потратив, не жалеючи, свой личный труд на уборку. Мало его личного труда – он ходит по соседям, собирает помочи. Обыкновенно на помочи выходят в праздники, а это тоже доставляет своего рода спорость: прогульных дней меньше. Все знают, что у него и рыбы, и мяса насолено, и конопляного масла непчатый бочонок стоит, и чарка водки найдется, – и идут к нему. Идут весело, с песнями, работают споро; он в первой косе. Хотя с работы возвращаются не поздно, но на миру работа идет вдвое спорее; все-таки угощение наполовину дешевле обойдется, нежели ту же пустошь наемными рабочими убрать. Да и хозяину веселее, когда кругом все кипит и спорится. Это, может быть, одни из редких минут, когда в нем сердце взаправду играет.

Однако к концу страды даже он начинает тощать на работе. Лицо у него почернело под слоем въевшейся пыли; домашние еле бродят. К счастью, страда кончается: и с озимым отселились, и снопы с поля свезены и сложены в скирды, и последнее сено убрали. Наступает осень, иногда румяная, иногда сопровождаемая ливнями. Осень тоже имеет свою страду, но уже более снисходительную. Работают преимущественно под крышей или вблизи дома, на гумне, на огороде. Слышится стук цепов; воздух насыщается запахом созревших овощей. Но хозяйственный мужичок зорко следит за атмосферическими изменениями, потому что и сплошь румяная осень может повредить, и от слишком частых дождей хозяйство, пожалуй, пострадает. Всего лучше, ежели погода перемежающаяся – тогда его сердце успокаивается до весны. Он ходит в поле и любит на рост озими. Но и тут уж мелькает в его голове предательская мысль: осень всключет, да как-то весна захочет!

Что, ежели вдруг весна придет бездождная или сплошь переполненная дождями? "Пойдут на низинах вымочки – своего зерна не соберешь; или на низинах хорошо взойдет, да наверху сгорит!" – мучительно думается ему.

Но загадывать до весны далеко: как-нибудь изворачивались прежде, изворотимся и вперед. На то он и слывет в околотке умным и хозяйственным мужиком. Рожь не удастся, овес уродится. Ежели совсем неурожайный год будет, он кого-нибудь из сыновей на фабрику пошлет, а сам в извоз уедет или дрова пилить наймется. Нужда, конечно, будет, но ведь крестьянину нужду знать никогда не лишнее.

Осенью он запасается на зиму. Сам с взрослыми сыновьями – целый день в лесу, готовит дрова и сучья; или молотит на гумне, справляет на зиму сбрую. Ежели найдется досуг, то для наполнения его у него есть и ремесло. Дуги на продажу готовит, бондарничает, веревки, вьет. Женский персонал между тем занимается зимним припасом. Стучат сечки о корыто, наполненное ядреной капустой; солится небольшой запас огурцов, в виде лакомства, на праздники; ходенем ходит ткацкий станок, заготавливая красно и шерстяную редину, которыми зимой обшивают семью. Минуты нет отдохнуть. Даже с наступлением сумерек, при свете керосиновой лампочки (такое освещение дешевле лучины стоит), – и тут дело найдется. Большак новый лапоть плетет или старый починивает; старуха шерстяные чулки и коврижки вяжет; молодухи прядут. Благословенный труд не покидает этой семьи; он не кажется ей каторгой, а составляет естественный жизненный процесс. Поздно вечером (сидят долго, но зато встают позднее – где еще до свету!) ужинают и ложатся спать. Временная каторга прекращается.

Ночью изба представляет собою нечто вроде нестерпимой клоаки. Домочадцев скучилось так много, что и пол занят, и полати, и лавки по стенам. Изба полна смрадом и стонами этого замученного хозяйственностью люда. У мужика есть, кроме избы, и «чистая» горница, но она не топится, ради сбережения дров, и вообще в ней даже летом редко живут; она существует напоказ и открывается только в праздники. Хорошо еще, что жилая изба топится «по-черному»; утром, чуть свет, затопит хозяйка печку, и дым поглотит скопившиеся в избе миазмы. Этот дым выедает глаза, щекочет ноздри. В беспрестанно отворяемую дверь врывается холодный воздух. Сонные домочадцы, разбуженные запахом гари и холодом, вскакивают как встрепанные и бегут на крыльцо, где на веревке качается рукомойник. Зато, часа через два, когда семейный обед готов, хозяйка заботливо закутывает печь, и в избе делается светло и тепло. "Точно в раю!" – говорит она довольным голосом.

Только в короткий рождественский мясоед жизнь становится как будто льготнее. Молодежь отдыхает; даже старики позволяют себе относительную свободу, хотя хозяйственный мужичок и тут не упускает случая, дающего возможность с выгодой употребить свой труд. Днем, около сумерек, деревенская улица полна катающимися. Парни, усадив в сани гурьбы девушек, настегивают лошадей и мчатся во всю прыть. Слышатся гиканья, крики, смех. Накапывают досыта, иззябнут, но в избу заходят ненадолго. Зажгутся в избах огни – пора на поседки. Соберутся в очередную избу, играют песни и веселятся до петухов. Тут парни высматривают невест, завязываются сватовства на Красную горку; любовь вступает в свои права.

В это же время, по преимуществу, хозяйственный мужичок играет свадьбы.

Женитьба сына не требует особенных приготовлений. Сын берет бабу в дом, а дома все идет своим чередом; прибавляется только лишняя работница. Присмотреть невесту, уговориться насчет приданого, установить норму расходов для пирований и на плату за венчание – вот все, что требуется. Но к свадьбе дочери подготавливаются издалека и исподволь, чтоб расход не был чувствителен. Дочь имеет собственную коробью, в которую сама собирает свое приданое. Ей каждый год отделяется небольшой клочок земли и дается горсточка льну на посев; этот лен она сама сеет, обделывает и затем готовит из него для себя красно. Все заготовленное она прячет в коробью, вместе с полученными в разное время подарками: платками, бусами, нарядными сарафанами и т. д.

С наступлением времени выхода в замужество – приданое готово; остается только выбрать корову или телку, смотря по достаткам. Если бы мужичок не предусмотрел загодя всех этих мелочей, он, наверное, почувствовал бы значительный урон в своем хозяйстве. А теперь словно ничего не случилось; отдали любимое детище в чужие люди, отпировали свадьбу, как быть надлежит, – только и всего.

Выше я сказал, что хозяйственный мужичок играет домашние свадьбы (или, точнее, женит сына, потому что дочь выдается, когда жених найдется) преимущественно к концу рождественского мясоеда. В этом деле им тоже руководит мудрость змия и твердая решимость

не потерпеть ущерба в жизнестроительном обиходе. Своевременно приведенная в дом сноха родит, при таком расчете, не раньше осени; следовательно всю летнюю страду она отбудет свободно. И не только будущую страду, но и предбудущую, потому что ребенок, родившийся с осени, успеет мало-мальски окрепнуть и не будет слишком часто отрывать мать от работы. Женить на Красную горку тоже удобно, с точки зрения ближайшей страды, но зато предбудущая уже не даёт достаточного обеспечения; ребенок будет мал и слаб.

Как видит читатель, никаких дум у хозяйственного мужика нет, кроме думы о жизнестроительстве. Ради нее он отдает себя и семью в жертву каторге, ради нее терпеливо выносит всякие неожиданности. Она затемняет в нем даже любовь к семье. Он всецело отдает ей самого себя, но – и только. Той любви, которая заставляет видеть в жене, сыне, дочери нечто ненаглядное, неприкосновенное для обид, не существует для него. И всю семью он успел на свой лад дисциплинировать; и жена и дети видят в нем главу семьи, которого следует беспрекословно слушаться, но горячее чувство любви заменилось для них простою формальностью – и не согревает их сердец.

Наконец идеал "полной чаши" достигнут. Изба прочна и хорошо ухичена; запасу вдоволь, скотины в избытке, дети – в порядке. В доме царствуют мир и согласие; даже в кубышке деньга, на черный день, водится. В таком положении до мироедства – один только шаг. Но хозяйственный мужик от природы чужд кровопивства; его не соблазняет ни лавочка, ни кабак. Непрерывным трудом и думою о будущем он достиг известной степени зажиточности – и будет с него. По-прежнему – он отказывается от чайничества, по-прежнему – ест хлеб черствый, а не мягкий, по-прежнему – осторожно обращается с свежей убоиной. Если б он поступил иначе, ему было бы не по себе, он перестал бы быть самим собой.

Но с "полною чашей" приходит и старость. Мало-помалу силы слабеют; он не может уже идти сорок вёрст за возом в город и не выносит тяжелой работы. Старческое недомогание обступает со всех сторон; он долго перемагает себя, но наконец влезает на печь и замолкает.

На арену хозяйственности выступает большак-сын. Если он удался, вся семья следует его указаниям и, по крайней мере, при жизни старика не выказывает розни. Но, по временам, стремление к особничеству все-таки прорывается. Младшие сыновья припрятывают деньги, – не всё на общее дело отдают, что выработают на стороне. Между снохами появляются «занозы», которые расстраивают мужей.

"Умру – всё растащат!" – думается старику, и болит, ах, болит его хозяйственное сердце!

Наконец он умирает. Умирает тихо, честно, почти свято. За гробом следует жена с толпою сыновей, дочерей, снох и внучат. После погребенья совершают поминки, в которых участвует вся деревня. Все поминают добром покойника. "Честный был, трудовой мужик – настоящий христианин!"

Да, это был действительно честный и разумный мужик. Он достиг своей цели: довел свой дом до полной чаши. Но спрашивается: с какой стороны подойти к этому разумному мужику? каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?

2. СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК

В основе существования сельского священника лежит та же мысль, как и у хозяйственного мужика: обеспечить себя и семью от вторжения нужды. Та же мучительная дума о завтрашнем дне, то же неотступное желание заблаговременно определить мельчайшие подробности жизнестроительства, с целью избежать неожиданностей. Впрочем, оговариваюсь: я говорю исключительно о священнике бедного прихода, и притом держащемся старозаветных преданий, словом сказать, о священнике, не отказавшемся от личного сельскохозяйственного труда. О священниках новой формации я знаю очень мало, хотя слышал, что большинство их уже относится, например, к полеводству довольно холодно (отдают свой земельный участок в кортому). Какой тип священника лучше и любезнее для народа, это покажет время; но личные мои симпатии, несомненно, тянут к прежнему типу, и я очень рад, что он исчезает настолько медленно, что и теперь еще составляет большинство. Но даже и там, где уже появился новый «батюшка», рядом с ним живут дьячок или пономарь, которым уж никак нельзя существовать иначе, как существовали их отцы и деды.

Поэтому все, что я скажу дальше о сельском священнике, вполне применимо и к причетническому быту, но, разумеется, в удвоенной степени, потому что и нужда здесь двойная, и размеры обеспечивающих средств вдвое и втрое меньше.

Нужда сельского священника значительно превышает нужду хозяйственного мужика. Священник живет шире не потому, чтоб это была его прихоть, а по необходимости: поповская обстановка исстари так сложилась. У него дом больше – такой достался ему при поступлении на место; в этом доме, не считая стряпушей, по крайней мере, две горницы, которые отапливаются зимой «по-чистому», и это требует лишних дров; он круглый год нанимает работницу, а на лето и работника, потому что земли у него больше, а стало быть, больше и скота – одному с попадьей за всем недоглядеть; одежда его и жены дороже стоит, хотя бы ни он, ни она не имели никаких поползновений к франтовству; для него самовар почти обязателен, да и закуска в запасе имеется, потому что его во всякое время может посетить нечаянный гость: благочинный, ревизор из уездного духовного правления, чиновник, приехавший на следствие или по другим казенным делам, становой пристав, волостной старшина, наконец, просто проезжий человек, за метелью или непогодой не решающийся продолжать путь. Куда толкнуться? – на постоялом дворе пьянство, холод, вонь – айда к попу! И священник волей-неволей заказывает работнице самовар и подает угощение. Но что всего больше угнетает священника – это дети. Их надо воспитать, а воспитать – значит подносить подарки, прилично одевать, содержать на наемной квартире и покупных хлебах, сначала в уездном городе, а потом и губернском. Язва, которую вносят с собой деньги в обиход хозяйственного мужика, в священническом обиходе оказывается двойною и тройною. Везде дыры, везде заткнуть надо. И дом достался ему – только слово, что дом; стены ветхие, накаты под полом сгнили, половицы колеблются. Всюду дует, везде надо заплату поставить – надолго ли? И двор, того гляди, повалится – хоть новый строй. У дочери-невесты платья подошли, а поблизости, у соседа-священника, скоро свадьбу играть будут; ежели не ехать – люди осудят, а ежели ехать – надо и самому приформиться, и семью обшить. В старом-то сарафане и пригожую девку никто за себя не возьмет. Сидит батюшка поздно вечером за приходскими книгами и думает крепкую думу: "Никак не извернусь!" Придется ему вытянуться в струну, урезать себя, отказаться от куска, лишь бы уgomонить женский персонал, который уже загодя предвкушает удовольствие предстоящего свадебного пирования.

Приход мал и беден. С праздничным причт ходит раз пять в год, причем мужики отделиваются трешницами или пятишницами; даже местный мироед больше двугривенного не дает. Сколько с сорока – пятидесяти дворов таких грошей наберешь? Церковь пустует; еле хватает церковных доходов на покупку муки для просфор и красного вина. Молебны редкие, за требу

– плата ничтожная, свадеб мало. Соберется в год рублей сотни, полторы – и те надо с причетниками поделить; очистится ли, нет ли после дележа на его пай сотня рублей? Жалованье тоже несообразное, и не увидишь, как оно между пальцев уйдет. Единственная прочная надежда на землю и на личный труд. Да и то еще как бог совершит.

Известно, что к церквам обязательно прирезывается до тридцати трех десятин земли. В иных приходах бывают и жертвованные земли, но это встречается редко. Две трети этой земли (ежели нет дьякона) составляют долю священника; остальная треть отдается двум причетникам. Вот на этих-то двадцати двух десятинах и сосредоточивает священник свои упования. Из них до шести десятин на его долю под лесом приходится, десятины две под лугом, около десятины уйдет под усадьбу с огородом, под церковь, под площадь. Десятин приблизительно двенадцать священник распахивает да с четверть десятины уделяет под лен жене и дочерям.

Хорошо еще, что церковная земля лежит в сторонке, а то не уберешься бы попу от потрав. Но и теперь в церковном лесу постоянно плешинки оказываются. Напрасно пономарь Филатыч встает ночью и крадется в лес, чтобы изловить порубщиков, напрасно разглядывает он следы телеги или саней, и нередко даже доходит до самого двора, куда привезен похищенный лес, – порубщик всегда сумеет отпереться, да и односельцы покроют его.

В полеводстве священник (назову его отцом Николаем) держится старой, трехпольной системы. Новшества – не в характере духовенства, да и не с чем к ним приступить. Нужны усовершенствованные орудия, а у него в распоряжении только соха да борона. Но главная беда – удобрения мало. Скота – две коровы, штук пять-шесть овец да лошадь – тут, вместе с небольшим огородцем, и одной десятины поля как следует не удобрить, а ему приходится удобрять четыре. Поэтому земля удобряется кой-как и дает соответственный урожай. Редко последний достигает размера сам-четверт для ржи и сам-третей для овса. Тут и на семена отложить надо, и самому продовольствоваться, и на сторону хоть немного продать.

Хозяйственный священник сам пашет и боронит, чередуясь с работником, ежели такой у него есть. В воспоминаниях моего детства неизгладимо запечатлелась фигура нашего старого батюшки, в белой рубашке навывпуск, с волосами, заплетенными в косичку. Он бодро напирает всей грудью на соху и понукает лошадь, и сряду около двух недель без отдыха проводит в этом тяжком труде, сменяя соху бороной. А заборонит – смотришь, через две недели опять или под овес запахивать нужно, или под озимь двойть.

Помочи при пашне не в обычае. Миряне, если бы и собрались на помочь, то не вспахали бы, а только взболтали бы землю, каждый на свой образец. При крепостном праве обратится, бывало, священник к помещику: "Позвольте дня на два работничка", – тот и дает. А нынче даже если и есть в селе господская экономия, то в ней хоть шаром покати. Впрочем, ежели церковный староста дружит с священником, то иногда уговорит двух-трех особенно набожных прихожан – сам-четверт урвут часа по три собственной пашни и вспашут батюшке десятинку. Такой помочи священник особенно рад: ни «подносить», ни угощать помощников не нужно, на ласковом слове довольны.

Сенокос обыкновенно убирается помочью; но между этою помочью и тою, которую устраивает хозяйственный мужичок, существует громадная разница. Мужичок приглашает таких же хозяйственных мужиков-соседей, как он сам; работа у них кипит, потому что они взаимно друг с другом чередуются. Нынешнее воскресенье у него помочь; в следующий праздничный день он сам идет на помочь к соседу. Священник обращается за помочью ко всему миру; все обещают, а на завтра добрая половина не явится.

– Припасу на сорок человек наготовлено, – горюет батюшка, – а пришло двадцать человек! хоть в навоз выливай щи!

Народ собрался разнокалиберный, работа идет вяло. Поп сам в первой косе идет, но прихожане не торопятся, смотрят на солнышко и часа через полтора уже намекают, что обедать пора. Уж обнесли однажды по стакану водки и по ломтю хлеба с солью – приходится по дру-

гому обнести, лишь бы отдалить час обеда. Но работа даже и после этого идет всё вялее и вялее; некоторые и косы побросали.

– Не каторжные! – раздается в толпе.

Делать нечего, надо собирать обед. Священник и вся семья суетятся, потчуют. В кашу льется то же постное масло, во щи нарезывается та же солонина с запашком; но то, что сходит с рук своему брату, крестьянину, ставится священнику в укор. "Работали до седьмого пота, а он гнилятиной кормит!"

Наконец обед кончен. Священник с вымученной улыбкой говорит:

– А нуте, господа миряне, на дорожку еще часик бы покосили!

Но половина мирян уже разошлась и молча, без песен, возвращается по домам.

Хорошо, что к сенокосу подоспели на каникулы сыновья. Старший уж кончает семинарию и басом читает за обедней апостола; младшие тоже, по крестьянскому выражению, гогочут. С их помощью батюшка успевает покончить с остальным сенокосом.

Попадья и с своей стороны собирает помочь: на сушку сена, на жнитво. Тут та же процедура, та же вялость и неспорость в работе.

"Смотреть на этих баб тошно!" – мучительно думает попадья, но вслух говорит: – А вы, бабыньки, для отца-то духовного постарайтесь! не шибко соломой трясите: неравно половина зерна на полосе останется.

К половине сентября начинает сводить священник полевые счета и только вздрагивает от боли. Оказывается, что ежели отложить на семена, то останется ржи четвертей десять – двенадцать, да овса четвертей двадцать. Тут – и на собственное продовольствие, и на корм скоту, и на продажу.

Некоторые священники пчелами занимаются, колод по двадцати, по тридцати держат. Это занятие выгодное. Пчела работает даром, но надо уметь с ней отваживаться. Ежели есть в доме старик отец или тесть (оставшийся за штатом), то обыкновенно он занимается пчелами и во время роенья не отходит от ульев. Ежели нет такого старика, то и эта забота падает на долю священника, мешая его полевым работам, потому что пчела капризна: как раз не усмотришь – и новый рой на глазах улетел. Однако все-таки тут довольно чувствительное подспорье. Около первого Спаса придет прасол, который скупает мед и воск, – пожалуй, рублей двадцать – тридцать и наберется.

Есть у священника и еще подспорье – это сборы с прихожан натуральными произведениями. О пасхе каждым прихожанином уделяется ему на заутрени, при христосованье, несколько яиц; при освящении пасх (вместо которых употребляются ватрушки) тоже вырезывается кусок. Священник стоит с крестом в руках, а сбоку, на столике, лукошко, наполняемое яйцами. И у причетников по лукошку, и у детей священника и причетников – каждого одевают: кто одно, кто два яйца положит. То же самое повторяется и на славлении, которое производится целой гурьбой. А на другой день матушка по приходу с лукошком ходит – опять яйца. Ежели славить идут в дальнюю деревню, то запрягают лошадь и нагружают телегу лукошками. Яиц набирается много, девать некуда; кусков – тоже. Едят целую неделю, всего приесть не могут. Поэтому солят яйца впрок, а куски ватрушек сушат. Хоть и не весть какая пища, а все же годится для наполнения желудка.

Другое подспорье – поминальные пироги и блины. И от них уделяется часть священнику и церковному причту. Недаром сложилась пословица: поповское брюхо, что бёрдо, всё мнет. Горькая эта пословица, обидная, а делать нечего: из песни слова не выкинешь.

Третье, и самое значительное, подспорье – новь. Около Воздвиженья священник ездит по приходу в телеге и собирает новую рожь и овес. Кто насыплет в мешок того и другого по гарнцу, а кто – и на два расщедрится. Следом за батюшкой является и матушка – ей тоже по горсточке льняного семени кинут.

Как и хозяйственный мужичок, священник на круглый год запасается с осени. В это время весь его домашний обиход определяется вполне точно. Что успел наготовить и собрать к Покрову – больше этого не будет. В это же время и покупной запас можно дешевле купить: и в городе и по деревням – всего в изобилии. Упустишь минуту, когда, например, крупа или пшеничная мука на пятак за пуд дешевле, – кайся потом весь год.

Питается священник в своей семье совершенно так же, как и хозяйственный мужичок. Точно так же осторожно обходится с убоиной; ест кашу не всякий день и льет в нее не коровье масло, а постное; хлеб подает на стол черствый и солит похлебку не во время варки ее (соляных частиц много улетучивается), а тогда, когда она уже стоит на столе. "Недосол на столе, а пересол на спине", – шутит он, ради оправдания своих чересчур уже экономических соображений. Зато «напоказ» он и самовар имеет, и закуску держит, – чтобы гость понимал, что он, как и прочие, по-людски живет.

Однако хозяйственный мужичок позволяет себе думать о "полной чаше", и нередко даже достигает ее, а священнику никогда и на мысль представление о "полной чаше" не приходит. Единственное, чего он добивается, это свести у года концы с концами. И вполне доволен, ежели это ему удастся.

– Мужичок в сто крат лучше нашего живет, – говорит он попадье, – у него, по крайности, руки не связаны, да и семья в сборе. Как хочет, так и распорядится, и собой и семьей.

– Вон на Петра Матвеева посмотреть любо! – вторит ему попадья, – старшего сына в запрошлом году женил, другого – по осени женить собирается. Две новых работницы в доме прибудет. Сам и в город возок сена свезет, сам и купит, и продаст – на этом одном сколько выгадает! А мы, словно прикованные, сидим у окошка да ждем барышника: какую он цену назначит – на том и спасибо.

– А старость придет – в заштат отчислят, землю отберут... Ах, старость! старость!

Голова отца Николая осаждается невеселыми думами, сердце – в постоянной тревоге.

Основа, на которой зиждется его существование, до того тонка, что малейший неосторожный шаг неминуемо повлечет за собой нужду. Сыновья у него с детских лет в разброде, да и не воротятся домой, потому что по окончании курса пристроятся на стороне. Только дочери дома; их и рад бы сбыть, да с бесприданницами придется еще подождать.

Ни поговорить по душе не с кем, ни посоветоваться. Как ни просто держит себя священник, все же он не свой брат, – без нужды мужик к нему не пойдет. Сиди дома, думай думу, дела не делай, а от дела не бегай. Зимние долгие вечера наполнить нечем: нет у него ремесла. Ежели поучения сочинять, так не всякий на то способность имеет, а сверх того, вон – их целая книга на всякие случаи готова. Ходит отец Николай по горнице; портреты епархиальных архиереев рассматривает; рад-радехонек, когда пробьет наконец девять часов. Поставят на стол пустые щи, а там, по молитве, и спать. Во сне он видит, что комиссия об улучшении быта духовенства устраивается.

– А я во сне видел, что нам жалованья прибавили, – сообщает он жене – а что, ежели сон-то вещий?

– Добро! ступай-ка скотине корм задавать. Ужо на картах погадаем, прибавят ли тебе жалованья или нет.

Годы тянутся за годами, серые, полные тоски. Священник мечтает о другом приходе, где больше доходов, но мечты его сбываются редко. Он и беден, и протекции не имеет. Хорошо, ежели и старое-то место успеет за собой закрепить до тех пор, куда силы не оставили. Старшую дочь он наконец успел выдать замуж – ничего, живет хорошо. Одной заботой меньше. Но каких хлопот ему это стоило! Нужно было и к прихожанам обращаться, каких-то старых «благодетелей» вспомнить, просить, кланяться, за каждый грош благодарить. Ради этого он в город съездил, всех купцов обошел, всех назвал ревнителями и истинными сынами церкви. И везде слышал: "выпьем, батя!" – и хорошо-хорошо, если в результате оказывалась зеленень-

кая. А изъян, причиненный этим событием в собственном хозяйстве, – сам по себе. Пришлось корову продать, в долги влезть. Будет памятна отцу Николаю эта свадьба.

А невзгоды между тем идут своим чередом. То капли дождя не канет – сгорело всё; то ливни льют – всё сопрело, сгнило. Вот он, подпоясанный, в белой рубашке навывпуск, идет с лукошком в руках. На дворе – который день дождик льет, от работы совсем отбило. Снопы с поля убирать бы надо, да погода не пускает, а снопы уж прорасть начали. "Семян не соберем!" – говорит он себе, и страх перед завтрашним днем ни на минуту не покидает его. Дождливая погода приводит урожай на грибы, и он все время проводит в лесу. Берет батюшка грибы и на небо поглядывает, не прояснится ли где хоть кусочек. Вот, слава богу, в сторонке слой облаков как будто потоньше становится; вот и синевы клочок показался... слава богу! завтра, может быть, и солнышко выглянет.

Выглянет солнышко – деревня оживет. Священник со всею семьей спешит возить снопы, складывать их в скирды и начинает молотить. И все-таки оказывается, что дожди свое дело сделали; и зерно вышло легкое, и меньше его. На целых двадцать пять процентов урожай вышел меньше против прошлогоднего.

Ни одного дня, который не отравлялся бы думою о куске, ни одной радости. Куда ни оглянется батюшка, всё ему или чуждо, или на все голоса кричит: нужда! нужда! нужда! Сын ли окончил курс – и это не радует: он совсем исчезнет для него, а может быть, и забудет о старике отце. Дочь ли выдаст замуж – и она уйдет в люди, и ее он не увидит. Всякая минута, приближающая его к старости, приносит ему горе.

И вот старость уж за плечами стоит. Священник начинает плохо разбирать печатное; рука его еле держит потир; о тяжелых полевых работах он и не помышляет. Семья его разбрелась окончательно. Старший сын уж лет десять профессорствует в дальней епархиальной семинарии; второй сын священствует где-то в Сибири; третий – не задался: не кончил курса и определился писцом в одно из губернских присутственных мест. Дочери тоже повываны замуж, а одна ушла в монастырь. Помощи ждать неоткуда, потому что у всех свои заботы, свои семьи. Землю батюшка сдал в кортому и один на один с попадьей коротает старческий век. Вдвоем им немного нужно, но впереди ждет неминуемый "заштат"...

Наконец грозная минута настала: старик отчислен заштат. Приезжает молодой священник, для которого, в свою очередь, начинается сказка об изнурительном жизнестроительстве. На вырученные деньги за старый дом заштатный священник ставит себе нечто вроде сторожки и удаляется в нее, питаясь крохами, падающими со скудной трапезы своего заместителя, ежели последний, по доброте сердца или по добровольно принятому обязательству, соглашается что-нибудь уделить.

По старой привычке, а отчасти и по необходимости, отец Николай ходит в свите причетников по приходу за яйцами, за новью; но его наделяют уж скупо...

Горькое начало, горькое существование, горький конец!

3. ПОМЕЩИК

Я буду говорить собственно о средней полосе России; и притом о помещике средней руки, не очень крупном и не совсем мелкопоместном.

Крупные землевладельцы встречаются редко. Они избрали благую часть: отрезали крестьянам в надел пахотную землю, а сами остались при так называемых оброчных статьях: лесах, лугах, рыбных ловлях и т. п. Пашню, какая осталась в излишестве, запустили под пастбище и тоже обратили в оброчную статью. Скота держат малость, только на случай приезда; старинные каменные хозяйственные постройки отчасти распроданы, отчасти пустеют и приходят в ветхость. Очевидно, что при таких условиях требуется не хозяйство, а только конторский надзор и счетоводство. В определенное время сдаются в конторе с торгов участки леса, лугов, мельницы, постоянные дворы, пастбище и прочие статьи.

Доход получается без хлопот, издержки по управлению незначительны. Живет себе владелец припеваючи в столице или за границей, и много-много, ежели на месяц, на два, заглянет летом с семьей в усадьбу, чтоб убедиться, все ли на своем месте, не кривит ли душой управляющий и в порядке ли сад.

Но, кроме того, есть и еще соображение: эти посещения напоминают детям, что они – русские, а гувернерам и гувернанткам, их окружающим, свидетельствуют, что и в России возможна своего рода *vie de chateau*.⁸ Дети заходят в деревни и видят крестьянских детей, о которых им говорят: «Они такие же, как и вы!» Но француженка-гувернантка никак не хочет с этим согласиться и восклицает: «C'est une race d'hommes tout-a-fait a part!»⁹ И затем, воротившись с экскурсии домой, ест персики, вишни и прочие фрукты, подаваемые в изобилии за завтраком и обедом, и опять восклицает: «Ah! que c'est beau! que c'est succulent! cela me rappelle les fruits de ma chere Touraine!»¹⁰

Повторяю: это не хозяйство, а конторское управление.

Что касается до мелкопоместных дворян, то они уже в самом начале крестьянской реформы почти совсем исчезли с сельскохозяйственной арены. Продали оставшиеся за наделом отрезки крестьянам позажиточнее (из них в скором времени образовались мироеды) и разбежались, куда глаза глядят. Вообще судьба этих людей представляет изрядную загадку: никто не следил за их исчезновением, никто не помнит о них, не знает, что с ними случилось. Такого-то видели в Москве – "совсем обносился"; такого-то встретили на железной дороге – в кондукторах служит. А большинство совсем как в воду кануло. Во всяком случае, эта помещичья разновидность встречается в настоящее время как редкое исключение. Ее заменил разnochинец, который хозяйствует на свой образец.

* * *

Помещик средней руки обладает очень неважными средствами. В старину у него было душ двести – триста крестьян, а за наделом их в его распоряжении осталось от шести до семи сот десятин земли. Усадьба некрасивая, в захолустье; дом – похожий на крохотную казарму; службы ветшают; о «заведениях», парке, реке и в помине нет. Редко где встретишь ручеек, на котором, для вида, поставлена мельница, а воды и на один постав не хватает. Небольшой садишко с яблонями да огородец сбоку, а при въезде в усадьбу – прудок, похожий на помойную яму. Кругом ровное место, без малейшего пригорка, так что нет и признака так называемого

⁸ жизнь в замке (франц.)

⁹ Это порода людей совсем особая! (франц.)

¹⁰ Ах, какая прелесть! как это вкусно! это мне напоминает плоды моей дорогой Турени! (франц.)

«красивого местоположения». Земля тоже не особенно чивая. Половина под пустошами, десятин с сотню под лесом, о заливных лугах и слыхом не слыхать. Природа ничего не дала здесь даром, все приходится с бою брать.

Жить в такой обстановке непривлекательно, ежели на первом плане не стоит сельскохозяйственный интерес. Соседство ограниченное, а ежели и есть, то разнокалиберное, несимпатичное; материальные средства небольшие; однообразие, и в природе и в людях, изумительное: порадовать взоры не на чем. Чтобы не чувствовать, как час за часом тянется серая жизнь, нужно, чтобы человека со всех сторон охватили мелочи, чтоб они с утра до вечера не давали ему опомниться. Тогда он не увидит, как пролетел день, и когда настанет время отдыха, то заснет как убитый. "Я ни разу болен не был с тех пор, как поселился в деревне! – говорил он, с гордостью вытягивая мускулистые руки, – да и не скучал никогда: времени нет!"

Помещиков средней руки имеется три типа: во-первых – равнодушный, во-вторых – убежденный и в-третьих – изворачивающийся с помощью прижимки.

О равнодушном помещике в этом этюде не будет речи, по тем же соображениям, как и о крупном землевладельце: ни тот, ни другой хозяйственным делом не занимаются. Равнодушный помещик на скорую руку устроился с крестьянами, оставил за собой пустоша, небольшой кусок лесу, пашню запустил, окна в доме заколотил досками, скот распродал и, поставив во главе выморочного имущества не то управителя, не то сторожа (преимущественно из отставных солдат), уехал.

– Ты за лесом смотри, паче глазу его береги! – сказал он сторожу на прощанье, – буду наезжать; ежели замечу порубку – не спущу! Да мебель из дому чтоб не растащили!

– Будьте покойны, вашескородие!

– Пустота сдавай в кортому; пашню, вероятно, крестьяне под поскотину наймут: им скот выгнать некуда. Жалованье тебе назначаю в год двести рублей, на твоих харчах. Рассчитывай себя из доходов, а что больше выручишь – присылай. Вот здесь, во флигельке, и живи. А для протопления можешь сучьями пользоваться.

– Много доволен, вашескородие!

Затем он приискал в Петербурге местечко и живет на жалованье да на проценты с выкупного свидетельства. Изредка получает из деревни то двести, то триста рублей и говорит знакомым:

– Я сегодня доход из деревни получил.

В течение десяти лет он только однажды посетил родное пепелище. Вошел в дом, понюхал и сказал:

– У, да как здесь пахнет!

Потом обошел лес и, заметив местами порубки, пригрозил сторожу ("Без этого, вашескородие, невозможно!"). Узнал, что с пустошами дело идет плохо: крестьяне совсем их не разбирают.

– Кои загрубели, кои березничком поросли, – жаловался сторож.

– Тем лучше; со временем лес будет!

– И лесу не будет; крестьяне расти не дают. Вскочит березка – сейчас вершину на веники срежут.

В два дня он все осмотрел и в заключение сказал:

– Ну, черт с вами! Вот сын у меня растет; может быть, он хозяйничать захочет. Дам ему тогда денег на обзаведение, и пускай он хлопочет. Только вот лес пуще всего береги, старик! Ежели еще раз порубку замечу – спуска не дам!

"Убежденный" помещик (быть может, тот самый сын «равнодушного», о котором сейчас упомянуто) верит, что сельское хозяйство составляет главную основу благосостояния страны. Это – теоретическая сторона его мирозерцания. С практической стороны, он убежден, что

нигде так выгодно нельзя поместить капитал. Но, разумеется, надо терпение, настойчивость, соответственный капитал и известный запас сведений.

Терпением и настойчивостью он обладает; капитал, хотя и небольшой, у него есть. Сведениями он тоже запасся. Кое-что он за границей видел, кое-чему научился из книг, кое-что слышал от опытных сельских хозяев. Но главному, разумеется, научит сама практика, сближение с разумным мужиком и наглядное знакомство с соседними хозяйствами. Хотя он еще молод и не живал подолгу в деревне, но уверен, что предстоящая задача совсем не так головоломна, как уверяют. Не боги горшки обжигают, – и простые смертные, при помощи доброй воли, сумеют это сделать.

Теперешнее его убеждение таково: надо как можно больше производить молока. Большое количество молока предполагает большое стадо коров. Кроме молока, стадо даст ему удобрение; удобрение повлечет за собой большое количество зерна и достаточно сена для продовольствия рогатого скота и лошадей. Молочное хозяйство должно окупить все текущие расходы по полевой операции; зерно должно представлять собой чистый доход. Вот цель, к которой должны быть направлены все усилия.

– И я достигну этой цели, – говорит он. – Везде, в целом мире, полеводство дает хотя и не блестящий, но вполне верный барыш; не может быть, чтобы мы одни составляли исключение!

С такими намерениями он приезжает на хозяйство и повсюду застаёт запустение. Прежде нежели приступить к полеводству, надо собственную обстановку устроить так, чтоб и ему и семье существовать было можно. Желу он тоже успел настроить в своем направлении, так что и во сне она коров видит; за детей заранее радуется, какие они вырастут крепкие и здоровые на вольном деревенском воздухе. Но и жена и дети прежде всего нуждаются в обстановке, в хорошо защищенном доме, не представляющем риска для простуды и вообще имеющем вид жилого помещения.

Ежели имение досталось ему по наследству – разумеется, он поневоле мирится с неудачами первых шагов; но ежели он купил имение, то в его сердце заползает червь сомнения. Дело в том, что он был слишком доверчив: смотрел и недоглядел. Начать с того, что он купил имение ранней весной (никто в это время не осматривает имений), когда поля еще покрыты снегом, дороги в лес завалены и дом стоит нетопленный; когда годовой запас зерна и сена подходит к концу, а скот, по самому ходу вещей, тощ ("увидите, как за лето он отгуляется!"). Следовательно, ничего доскональным образом ни осмотреть, ни определить невозможно.

И точно: везде, куда он теперь ни оглянется, продавец обманул его. Дом протекает; накатывает под полом ветхи; фундамент в одном месте осел; корму до новой травы не хватит; наконец, мельница, которая, покуда он осматривал имение, работала на оба постава и была завалена мешками с зерном, – молчит.

– Воды только на один постав и хватает, да и для одного-то помольцев нет, – говорит мельник. – Какая это мельница! Только горе с ней!

– Как же при мне она на оба постава работала, да и зерна было навезено вдоволь?

– А мы дня два перед тем воду копили, да мужичкам по округе объявили, что за полцены молоть будем... вот и работала мельница.

– Мы и сами в ту пору дивились, – сообщает, в свою очередь, староста (из местных мужичков), которого он на время своего отсутствия, по случаю совершения купчей и первых закупок, оставил присмотреть за усадьбой. – Видите – в поле еще снег не тронулся, в лес проехать нет, а вы осматривать приехали. Старый-то барин садовнику Петре цалковый-рупь посулил, чтоб вас в лес провез по меже: и направо и налево – все, дескать, его лес!

И батюшка, пришедший с просвирой поздравить его с приездом, присовокупляет:

– И у меня, грешным делом, вертелось на языке: погодите до тепла, не поспешайте! Но при сем думалось и так: ежели господин поспешает – стало быть, ему надобно.

Словом сказать, совсем он не то купил, что смотрел.

Но повторяю: наследственное ли имение или благоприобретенное, во всяком случае, надо начать с домашней обстановки, отложив на время мечты об усовершенствованных приемах полеводства, об улучшении породы скота и т. п. Все в упадке: и дом, и скотный двор, и службы, все требует коренного, серьезного ремонта.

Целое лето кипит в доме работа. Помещик перебрался на одну половину дома, а другую предоставил в распоряжение плотников и маляров. С зарею раздается стук топоров, пение песен, а из отворенных окон валит едкая пыль. Плотники подняли полы и рубят новые накаты, кровельщики влезли на крышу, звенят железными листами, вбивают гвозди. На днях приедут штукатуры и маляры – и ад будет в полной форме. У детей с утра до вечера головки болят; днем в хорошую погоду они на воздухе, в саду, но в дождь приюта найти не могут.

– Надо же примириться с этим, – утешает помещик, – ведь мы не на один год устраиваемся!

Но что всего чувствительнее – уходит масса денег, и нет уверенности, что они уходят производительно. Не успели покончить одну работу, как в перспективе уже виднеется другая. И все такие работы, которые представляют только безвозвратную трату. Везде – подлость, мерзость, обман. Плотники работают кое-как, маляры на целую неделю запоздали. Помещик за всем смотрит сам, но его обманывают в глаза. Он и понимает, что его обманывают, но что-то в этом обмане есть такое, чего он раскрыть и объяснить не может. Приходится махнуть рукой и сказать себе: "Ах, хоть бы поскорее кончилось!"

Покуда в доме идет содом, он осматривает свои владения. Осведомляется, где в последний раз сеяли озимь (пашня уж два года сряду пустует), и нанимает топографа, чтобы снял полевую землю на план и разбил на шесть участков, по числу полей. Оказывается, что в каждом поле придется по двадцати десятинам, и он спешит посеять овес с клевером на том месте, где было старое озимое.

– А впереди у меня будет паровое поле, которое я летом приготавливаю под озимь, – толкует он топографу: – надо не сразу, а постепенно работать.

– Поспешность потребна только блох ловить! – развязно откликается топограф.

– Гм... блох... да! – задумчиво вторит, ему хозяин и, обращаясь к старосте, спрашивает: – Давно ли со скотного двора навоза не вывозили?

– Да года два уже не возим: скотина по уши в грязи стоит.

– Ну, видишь ли, хоть скота у меня и немного, но так как удобрение два года копилось, то и достаточно будет под озимь! А с будущей осени заведу скота сколько следует, и тогда уж...

Осмотревши поля, едет на беговых дрожках в лес. То там куртинка, то тут. Есть куртинки частые, а есть и редичь. Лес, по преимуществу, дровяной – кое-где деревцо на холостую постройку годно. Но, в совокупности, десятинам с сотню наберется.

– В случае надобности, можно будет и тово... – нашептывает ему тайный голос.

А староста точно слышит этот голос и говорит:

– Вот эту куртинку старый барин еще с осени собирался продать.

– С осени? – машинально вторит помещик.

– Точно так. Мне, говорит, она не к месту, а между тем за нее хорошие деньги дадут. Березняк здесь крупный, стеколистый; саженой сто швырка с десятины наберется.

– Гм... однако ж!

Осмотревши лес, едут на пустоша.

– Вот на этой пустоши бывает трава, мужички даже исполу с охотой берут. Болотце вон там в уголку, так острец растет, лошади его едят. А вот в Лисьей-Норе – там и вовсе ничего не растет: ни травы, ни лесу. Продать бы вам, сударь, эту пустошь!

– А мы попробуем обработать ее.

– Как ее обработаешь! Земля в ней как камень скипелась, лишаями поросла. Тронуть ее, так все сохи переломаешь, да и навозу она пропасть сожрет. А навоз-то за пять верст возить нужно.

– А сколько за нее дадут, если продать?

– Рублей сто дадут, кому нужно.

– Помилуй! в ней с лишком сорок десятин!

– Какая земля, такая и цена. И сто рублей на дороге не валяются. Со стами-то рублями мужичок все хозяйство оборудует, да еще останется.

Невесело возвращаться домой с такими результатами, а дома барыня чуть не плачет.

– Помилуй! – жалуется она, – когда же ты навоз вывозить велишь? ведь коровы по уши в грязи вязнут.

– погоди, душа моя, дай отсеяться с яровым.

– Нечего годить; скоро мы совсем без молока будем. Двадцать коров на дворе, а для дома недостает. Давеча Володя сливок просит, послала на скотную – нет сливок; принесли молока, да и то жидкого.

– Должно быть, прислуга...

– Помилуй! в деревне жить, да прислуге в молоке отказывать! Известно, по бутылке на человека берут. Шесть человек – шесть бутылок.

– Однако!

– Нет, это коровы такие... Одна корова два года ялова ходит, чайную чашечку в день доит; коров с семь перестарки, остальные – запущены. Всех надо на мясо продать, все стадо возобновить, да и скотницу прогнать. И быка другого необходимо купить – теперешнего коровы не любят.

– А я надеялся постепенно усовершенствовать стадо. Конечно, нужно и прикупить, да не все же вдруг...

Заранее принятые решения оказываются построенными на песке. Действительность представляется в таком виде: стройка валится; коровы запущены, – не дают достаточно молока даже для продовольствия; прислуга, привезенная из города, извольничалась, а глядя на нее, и местная прислуга начинает пошалить; лошади тощи, никогда не видят овса. Даже поила хорошего нет, потому что единственный в усадьбе пруд с незапамятных времен не чищен ("Вот осенью вычищу – сколько я из него наилку на десятины вывезу!" – мечтает барин). Все надо припасти и исправить разом, как бы по мановению волшебства, потому что в жизнестроительстве все подробности связаны: запусти одни – и все остальное в упадок придет. Малейшая оплошность, словно червоточина, проникнет всюду и все заботы приведет к нулю. Какая масса денег потребуется, чтоб все это исполнить?? Где их взять?

Но помещик недаром называет себя убежденным. Он принимает героическое решение и откладывает добрую часть капитала на хозяйственные реформы. Для деревенской жизни ему за глаза достаточно процентов с остальной части капитала ("масло свое, живность своя, хлеб свой", и т. д.). Настоящего севооборота он, конечно, не дожидается раньше трех лет, но зато к тому времени у него все будет готово, все начеку: и постройки, и стадо, и усовершенствованные орудия – словом сказать, весь живой и мертвый сельскохозяйственный инвентарь. И на одной из пустошей он мечтает самостоятельный хуторок завести. Выстроить скотный двор и при нем небольшой флигелек для рабочих, с чистою комнатою на случай приезда. Прудок выроет, огородец разведет.

– Мы туда чай пить будем ездить, – сообщает он жене. – Это детям удовольствие доставит, а мы между тем присмотрим...

Через три года – хозяйство в полном ходу. Поля удобрены ("вон на ту десятину гуано положили"), клевер в обоих полях вскочил густо; стадо большое, больше ста голов (хороший хозяин не менее 1 1/3 штуки на десятину пашни держит); коровы сытые, породистые; скотный

двор содержится опрятно, каждая корова имеет свой кондуитный список: чуть начала давать молока меньше – сейчас соберут совет и начинают добиваться, каким образом и отчего. И добьются. Главная скотница – от Широбокова; молочница – ученица Верещагина; обе получают хорошее жалованье; работники – тоже исправные, обходятся с орудиями умеючи. Кормит он их сытно, хотя по-крестьянски, то есть льет в кашу не скоромное, а постное масло и солонину дает с запашком. Во всяком случае, ропота на плохую пищу не слышит, а это только и нужно. И дом и службы, после капитального ремонта, особенных затрат не требуют, и, в довершение всего, по каждой отрасли заведена двойная бухгалтерия. Словом сказать, хозяйство идет по маслу. Правда, что половины капитала как не бывало, но со временем она возвратится с лихвою. Терпение и настойчивость – вот главное.

Ни в том, ни в другом у него недостатка нет. Убежденный хозяин с утра до вечера хлопочет; встает в одно время с рабочими и в одно время с ними полдничает, обедает и отдыхает. Везде – он сам; на пашне ни малейшего огреха не пропустит; на сенокосе сейчас заметит, который работник не чисто косит. А на скотном дворе хлопочет жена. При себе заставляет коров доить, при себе приказывает корм задавать. Добрую корову погладит, велит кусок черного хлеба с солью принести и из своих рук накормит; худой, не бегущей о хозяйской выгоде корове пальцем погрозит. Заглянет в молочную – и сама засучит рукава, попробует масло бить. И удовольствие и выгода – всё вместе.

Дети между тем здоровеют на чистом воздухе; старший сынок уж учиться начал – того гляди, и вплотную придется заняться им.

После целого года работы и неустанных хлопот приводится в действие двойная бухгалтерия. Сводятся счета. Оказывается – доход уж есть, но маленький, около двухсот рублей.

– Маловато, – соглашается помещик, – но на будущий год...

– На службе ты куда больше получил бы! – замечает жена.

На будущий год доход увеличивается до трехсот рублей. Работал-работал, суетился-суетился, капитал растратил, труд положил, и все-таки меньше рубля в день осталось. Зато масло – свое, картофель – свой, живность – своя... А впрочем, ведь и это не так. По двойной бухгалтерии, и за масло и за живность деньги заплатили...

Кроме того: хотя все устроено капитально и прочно, но кто же может поручиться за будущее? Ведь не вечны же, в самом деле, накаты; нельзя же думать, чтобы на крыше краска никогда не выгорела... Вон в молочной на крышу-то понадеялись, старую оставили, а она мохом уж поросла!

Наконец, нельзя терять из вида и того, что старший сын совсем уж поспел – хоть сейчас вези в гимназию. Убежденный помещик начинает задумываться и все больше и больше обращается к прошлому. У него много товарищей; некоторые из них уж действительные статские советники, а один даже тайный советник есть. Все получают содержание, которое их обеспечивает; сверх того, большинство участвует в промышленных компаниях, пользуется учредительскими паями...

А он что? Как вышел из «заведения» коллежским секретарем (лет двенадцать за границей потом прожил, все хозяйству учился), так и теперь коллежский секретарь. Даже земские собрания ни разу не посетил, в мировые не баллотировался. Связи все растерял, с бывшими товарищами переписки прекратил, с деревенскими соседями не познакомился. Только и побывал, однажды в три года, у "интеллигентного работника", полюбопытствовал, как у него хозяйство идет.

Интеллигентный работник, Анпетов, поселился года четыре тому назад в десяти верстах от убежденного помещика, вместе с отставным солдатом Финагеичем. Купил Анпетов дешево небольшую пустошь, приобрел две коровы, лошадь, несколько овец, запаса орудиями, выстроил избу на крестьянский манер и начал работать. Солдат был женатый и жил не в качестве наемника, а на правах пайщика – и убытки и барыши пополам; только процент на затра-

ченный капитал предполагался к зачету из дохода. Но куда еще ничего у пайщиков не выяснилось, кроме пустых щей да хлеба, который они ели. Но, разумеется, они надеялись, что в будущем труд прокормит их.

– Как дела? – спрашивал его помещик.

В ответ на это интеллигентный рабочий показал мозолистые руки.

– Вот, куда, что в результате получилось, – молвил он, – ну, да ведь мы с Финагеичем не отстанем. Теперь только коровы и выручают нас. Сами молоко не едим, так Финагеич в неделю раз-другой на сыроварню возит. Но потом...

И в заключение не удержался и обругал посетителя.

– Вы белоручки, – сказал он, – по пашне да по сенокосу с тросточкой похаживаете. Попробовали бы вы сами десятину вспахать или восемь часов косой помахать, как мы... небось, пропала бы охота баловаться хозяйством.

Разумеется, он не попробовал; нашел, что довольно и того, что он за всем сам следит, всему дает тон. Кабы не его неустанный руководящий труд – разве цвели бы клевером его поля? разве давала бы рожь сам-двенадцать? разве заготавливалось бы на скотном дворе такое количество масла? Стало быть, Анпетов соврал, назвавши его белоручкой. И он работает, только труд его называется "руководящим".

Однако на другой день он пожелал проверить оценку Анпетова. Выйдя из дому, он увидел, что работник Семен уж похаживает по полю с плужком. Лошадь – белая, Семен в белой рубашке – издали кажет, точно белый лебедь рассекает волны. Но, по мере приближения к пашне, оказывалось, что рубашка на Семене не совсем белая, а пропитанная потом.

– Дай-ко, я попахую! – предложил помещик Семену.

– Куда же вам! только ручки себе намозолите!

– Нет, дай!

Он стал за плугом, но не успел пройти и двух сажень, как уже задохся; плуг выскочил у него из рук, и лошадь побежала по пашне, цепляясь лемехом за землю.

– Стой, каторжная! – кричал Семен на лошадь. А барин между тем стоял на месте и покачивался, словно пьяный.

"Действительно, – думал он, – пахать – это... Но все-таки Анпетов соврал. Пахать я, конечно, не могу, но, в сущности, это и не мое дело. Мое дело – руководить, вдохнуть душу, а всё остальное..."

Так на этом он и успокоился. И даже, возвратясь домой, сказал жене:

– Пробовал я сегодня пахать – не могу. Это не мое дело. Мое дело – вдохнуть душу, распорядиться, руководить. Это тоже труд, и не маленький!

– Еще бы! – отозвалась жена.

Словом сказать, погружаясь в море хозяйственных мелочей, убежденный помещик душу свою мало-помалу истратил на вытягиванье гроша за грошом. Он ничего не читал, ничем не интересовался, потерял понятие о комфорте и красоте. Яма, в которой стояла усадьба, вполне удовлетворяла его; он находил, что зимою в ней теплее. Он одичал, потерял разговор. Однажды заехал к нему исправник и завел разговор о сербских делах. Он слушал, но только из учтивости не зевал. В голове у него совсем не сербские дела были, а бычок, которого он недавно купил.

– Хотите, я вам бычка своего покажу? – не выдержал он.

– С удовольствием.

Пошли на скотный двор, вывели бычка – красавец! грудь широкая, ноги крепкие и, несмотря на детский возраст (всего шесть месяцев), – уж сердится.

– Вот так бычок! – не выдержал, в свою очередь, исправник.

– Это – надежда моего скотного двора! это – столп, на котором зиждется все будущее моего молочного хозяйства! Четыре месяца тому назад восемьдесят рублей за него заплатил, а теперь и за полтора не отдам...

Словом сказать, совсем всякую способность к общежитию утратил.

А в результате оказывалось чистой прибылью все-таки триста рублей. Хорошо, что еще помещение, в котором он ютился с семьей, не попало в двойную бухгалтерию, а то быть бы убытку рублей в семьсот – восемьсот.

– Ты думаешь, мало такая квартира стоит? – не раз говорил он жене, – да кухня отдельная, да флигель... Ежели все-то сосчитать...

– Ну, что тут! надо же где-нибудь жить!

Однако сын все растет да растет; поэтому самая естественная родительская обязанность заставляет позаботиться о его воспитании. Убежденный помещик понимает это и начинает заглядывать в будущее.

– Надо же как-нибудь насчет Володи порешить, – осторожно заговаривает он.

– Надо, – соглашается с ним жена.

– Я думаю, не написать ли к Зверкову? Он, по-товарищески, примет его на свое попечение, определит...

– Что твой Зверков! Он и думать забыл о тебе! Зверков! – вот о ком вспомнил! Надо самим ехать в Петербург. Поселишься там – и товарищи о тебе вспомнят. И сына определишь, и сам место найдешь. Опять человеком сделаешься.

Наболевшее слово вырвалось, и высказала его, по обыкновению, жена. Высказала резко, без подготовлений, забыв, что вчера говорила совсем другое. Во всяком случае, мужу остается только решить: да или нет.

Но какой отличный предлог: сын! Не по капризу они бросают деревню, а во имя священных обязанностей.

– Ты думаешь? – цедит он сквозь зубы.

– Чего думать! Целый день с утра до вечера точно в огне горим. И в слякоть и в жару – никогда покоя не знаем. Посмотри, на что я похожа стала! на что ты сам похож! А доходов все нет. Рожь сам-двенадцать, в молоке хоть купайся, все в полном ходу – хоть на выставку, а в результате... триста рублей!

– Да, есть тут загадка какая-то.

– Никакой загадки нет. Баловство одно – это хозяйство со всеми затеями и усовершенствованиями. Только деньги словно в пропасть бросили. Уедем, пока вконец не разорились.

– Ну, все-таки... Знаешь, я рассчитывал, кроме того, и на окружающих влияние иметь...

– Лучше бы ты о себе думал, а другим предоставил бы жить, как сами хотят. Никто на тебя не смотрит, никто примера с тебя не берет. Сам видишь! Стало быть, никому и не нужно!

Разговор возобновляется чаще и чаще, и с каждым днем приобретает более и более определенный характер. Подстрекательницей является все-таки жена.

– Вот что я тебе скажу, – говорит она однажды, – хозяйство у нас так поставлено, что и без личного надзора может идти. Староста у нас честный, а ежели ты сто рублей в год ему прибавишь, то он вполне тебя заменит. Но если ты захочешь, то можешь и сам с апреля до октября здесь жить, а я с детьми на каникулы буду приезжать. Вот что я сделаю. Теперь июль месяц в конце, а в августе приемные экзамены начнутся. Через неделю я уеду с Володи в Петербург. Съезжу к твоим товарищам, – ты мне письма дашь, – подыщу квартиру и определю Володю, а ты к октябрю уберешься с хлебом и приедешь к нам с Верочкой и с Анной Ивановной (гувернантка). Анна Ивановна! ведь вы без меня на скотном присмотрите?

– С удовольствием.

– Ну, так вот...

Сказано – сделано. Через неделю жена собрала сына и уехала в Петербург. К концу августа убежденный помещик получил известие, что сын выдержал экзамен в гимназию, а Зверков, Жизнеев, Эльман и другие товарищи дали слово определить к делу и отца.

В начале октября он уехал из деревни, наказав старосте вести хозяйство по заведенному порядку.

Теперь он состоит где-то чиновником особых поручений, а сверх того, имеет выгодные частные занятия. В одной компании директорствует, в другой выбран членом ревизионной комиссии. Пробует и сам сочинять проекты новых предприятий и, быть может, будет иметь успех. Словом сказать, хлопочет и суетится так же, как и в деревне, но уже около более прибыльных мелочей.

В деревню он заглядывает недели на две в течение года: больше разживаться некогда. Но жена с детьми проводит там каникулы, и – упаси бог, ежели что заметит! А впрочем, она не ошиблась в старосте: хозяйство идет хоть и не так красиво, как прежде, но стоит дешевле. Дохода очищается триста рублей.

* * *

Рядом с убежденным помещиком процветает другой помещик, Конон Лукич Лобков, и процветает достаточно удовлетворительно. Подобно соседу своему, он надеется на землю и верит, что она даст ему возможность существовать; но возможность эту он ставит в зависимость от множества подспорьев, которые к полеводству вовсе не относятся.

Земли у него немного, десятин пятьсот с небольшим. Из них сто под пашней в трех полях (он держится отцовских порядков), около полутораста под лесом, слишком двести под пустошами да около пятидесяти под лугом; болотце есть, острец в нем хорошо растет, а кругом по мокрому месту, травка мяконькая. Но нет той пяди, из которой он не извлекал бы пользу, кроме леса, который он, до поры до времени, бережет. И, благодарение создателю, живет, – не роскошествует, но и на недостатки не жалуется.

Лобков не заботится ни о том, чтоб хозяйство его считалось образцовым, ни о том, чтоб пример его влиял на соседей, побуждал их к признанию пользы усовершенствованных приемов земледелия, и т. д. Он рассуждает просто и ясно: лучше получить прибыли четыре зерна из пяти, нежели одно из десяти. Очевидно, он не столько рассчитывает на силу урожая, сколько на дешевизну и даже на безвозмездность необходимого для обработки земли труда.

Вот с этою-то целью и изобретена им целая хитросплетенная система подспорьев.

Первое место в ряду подспорьев занимает прижимка. Конон Лукич подкрадывался к ней издалека, еще в то время, когда только что пошли слухи о предстоящей крестьянской перестройке (так называет он упразднение крепостной зависимости). В то время он всячески ласкал крестьян и обнадеживал их: "Вот уж, будете вольные, и заживем мы по-соседски мирком да ладком. Ни вы меня, ни я вас – все у нас будет по-хорошему". Так что когда наступил срок для составления уставной грамоты, то он без малейшего труда опутал будущих «соседушек» со всех сторон. И себя и крестьян разделил дорогою: по одну сторону дороги – его земля (пахотная), по другую – наделная; по одну сторону – его усадьба, по другую – крестьянский порядок. А сзади деревни – крестьянское поле, и кругом, куда ни взгляни, – господский лес.

– Вы пашни больше берите, – увещевал он крестьян, – в ней вся ваша надежда. За лесом не гонитесь, я и сучьев на отопление, и валежнику на лучину, хоть задаром, добрым соседям отпущу! Лугов тоже немного вам нужно – у меня пустошей сколько угодно есть. На кой мне их шут! Только горе одно... хоть даром косите!

Словом сказать, так обставил дело, что мужичку курицы выпустить некуда. Курица глупа, не рассуждает, что свое и что чужое, бредет туда, где лучше, – за это ее сейчас в суп. Ищет баба курицу, с ног сбилась, а Конон Лукич молчит.

– Вы, что ли, Конон Лукич, курицу взяли? – пристаёт она к барину.

– Не знаю; видел я давеча курицу у себя в огороде, а твоя ли, моя ли – Христос их разберет!

– Куда же она девалась?

– Должно быть, в суп ко мне попала. Не ходи в огород! – за это я не только чужой, но и своей курице потачки не дам!

Что бабе делать? Не судиться же из-за курицы! Обругает барина, да он уже обтерпелся. В глаза его «мучителем» зовут, а он только опояску на халате обдергивает.

И полеводство свое он расположил с расчетом. Когда у крестьян земля под паром, у него, через дорогу, овес посеян. Видит скотина – на пару ей взять нечего, а тут же, чуть не под самым рылом, целое море зелени. Нет-нет, да и забредет в господские овсы, а ее оттуда кнутьями, да с хозяина – штраф. Потравила скотина на гривенник, а штраф – рубль. "Хоть все поле стравите – мне же лучше! – ухмыляется Конон Лукич, – ни градобитиев бояться не нужно, ни бабам за жнитво платить!"

Однако он настолько добр, что денег за штрафы не требует.

– Мне на что деньги, – говорит он, – на свечку богу да на лампадное маслице у меня и своих хватит! А ты вот что, друг: с тебя за потраву следует рубль, так ты мне, вместо того, полдесятинки вспаши да сдвой, – ну, и заборони, разумеется, – а уж посею я сам. Так мы с тобой по-хорошему и разойдемся.

– Мучитель вы наш, Конон Лукич!

– Ты говоришь: мучитель, а я говорю: правило такое есть. На чужую собственность не заглядывайся. Я к тебе не хожу, ты ко мне не ходи. Знаешь ли ты, что такое собственность? Ею, друг, государство держится. Потому всякому своего жаль; а коли своего жаль, так, стало быть, и чужого касаться не следует. Все друг по дружке живут: я тебя берегу, ты – меня... потому что у каждого есть собственность. А ежели кто это забывает – значит, тот и государству изменник, да и вообще... ну, просто, значит, ничего не стоящий человек!

Словом сказать, и потравы и порубки не печалят его, а радуют. Всякий нанесенный ему ущерб оценен заблаговременно, на все установлена определенная такса. Целый день он бродит по полям, по лугам, по лесу, ничего не пропустит и словно чутьем угадает виновного. Даже ночью одним ухом спит, а другим – прислушивается.

На первых порах после освобождения он завалил мирового посредника жалобами и постоянно судился, хотя почти всегда проигрывал дела; но крестьянам даже выигрывать надобно: выиграешь медный пятак, а времени прогуляешь на рубль. Постепенно они подчинились; отводили душу, ругая Лобкова в глаза, но назначенные десятины обрабатывали исправно, не кривя душой. Чего еще лучше!

Другое подспорье – это система так называемых одолжений. У мужичка к весне и хлеб и сено подошли, а Конон Лукич всегда готов, по-соседски, одолжить.

– Одолжили бы, сударь, пудика два мучки до осени? – кланяется мужичок.

– С удовольствием, друг. И процента не возьму: я тебе два пуда, и ты мне два пуда – святое дело! Известно, за благодарность ты что-нибудь поработаешь... Что бы, например? – Ну, например, хозяйка твоя с сношеньками полдесятинки овса мне сожнет. Ах, хороша у тебя старшая сноха... я-адренная!

– Помилуйте, Конон Лукич! – полдесятины-то овса сжать мало-мальски два с полтиной отдать нужно!

– Это ежели деньгами платить, а мне – за благодарность. Я ведь не неволю; мне и гуляючи отработаете. Наступит время, поспеет овес – бабыньки-то твои и не увидят, как шутя полдесятинки сожнут!

За первым мужичком следует другой, за другим – третий и так далее. У всех нужда, и всех Конон Лукич готов наделить. Весной он обеспечивает себе обработку и уборку полей. С наступлением лета он точно так же обеспечивает уборку сенокоса.

Здесь ему приходит на помощь третье отличное подспорье – пустота.

– Берите у меня пустота! – советует он мужичкам, – я с вас ни денег, ни сена не возьму – на что мне! Вот лужок мой всем миром уберете – я и за то благодарен буду! Вы это шутя на гулянках сделаете, а мне – подспорье!

– Всё на гулянках да на гулянках! – и то круглый год гуляем у вас, словно на барщине! – возражают мужички, – вы бы лучше, как и другие, Конон Лукич: за деньги либо исполу...

– Что вы, Христос с вами! – да мне стыдно будет в люди глаза показать, если я с соседями на деньги пойду! Я – вам, вы – мне; вот как по-христиански следует. А как скосите мне лужок, – я вам ведрок поставлю да пирожком обделю – это само собой.

Словом сказать, благодаря подспорьям, гуляют у него мужички на работе, а он пропитывается.

Скота он держит немного и стада своего не совершенствует, хотя от покупки доброй коровы-ярославки – не прочь: удой от нее хорош, да и ухода изысканного не требует. Это он даже в патриотизм себе вменяет.

– Чем по заграницам деньги транжирить, – говорит он, – лучше свое, отечественное, поощрять... так ли?

Но чтобы получить достаточное количество навоза, он придумал опять своего рода подспорье. Осенью ездит по ярмаркам и сельским аукционам и скупает лошадей-палошниц. Рублей по десяти за голову, штук шестьдесят он таких одров накупит и поставит на зиму на мякину да на соломенную резку, чтоб только не подохла скотина. К весне слегка овсецом подправит – и продает. Ту же лошадь, ввиду наступления рабочего времени, мужичок за сорок рублей купит – смотришь, рублей десять – пятнадцать барышка с каждой головы наберется. А навоз сам по себе... конский навоз!

Тут барышок, там барышок, везде, за что он ни возьмется, – везде барышок. Правда, что он с утра до вечера мается, маклачит, мелочничает, но зато сыт. Живет он одиноко; многие даже думают, что у него совсем семьи нет. Но это не так: есть у него семья, да только не удалась она. Есть жена, да полудурье, и притом попивает, – никому он ее не кажет. Есть два сына: один – на Кавказе ротным командиром служит, другой – в морях. Оба лет двадцать к нему глаз не кажут – очень уж он в детстве тиранил – и даже не пишут. Есть и дочь, да он ее проклял. Но он до такой степени «изворовался» в сельскохозяйственных ухищрениях, что даже не замечает отсутствия семьи.

Однажды, после одного из судбищ, заехал к нему мировой посредник и разговорился.

– Из чего только вы хлопчете, Конон Лукич? – спросил посредник.

– А вы из чего?

– Я... как же возможно! Я – служу, посильную пользу обществу приношу.

– Все мы из-за одного бьемся... кормиться хотим. Вы глядите в книгу и видите фигу – за это деньги получаете; я – около хозяйства колочусь. Сыт – и слава богу!

Посредник обиделся (перед ним действительно как будто фи́га вдруг выросла) и уехал, а Конон Лукич остался дома и продолжал «колотиться» по-старому. Зайдет в лес – бабу поймает, лукошко с грибами отнимет; заглянет в поле – скотину выгонит и штраф возьмет. С утра до вечера все в маете да в маете. Только в праздник к обедне сходит, и как ударят к «Достойно», непременно падет на колени, вынет платок и от избытка чувств сморкнется.

Зимой ему посвободнее. Но и тут он нашел себе занятие: ябеды пишет. Доносит на священника, что он в такой-то царский день молебна не служил; на Анпетова – что он своим примером в смущение приводит; на сельского старосту – что он, будучи вызван в воскресенье к исправнику, так отважно выразился, что даже миряне потупили очи.

Словом сказать, совершенно доволен, что его со всех сторон обступили мелочи, – ни дыхнуть, ни подумать ни о чем не дают. Ценою этого он сыт и здоров, – а больше ему ничего и не требуется.

4. МИРОЕДЫ

И мироед не чужд природе. Разумеется, не в смысле сельскохозяйственном, а в том, что и он производит свой чужеродный промысел на лоне природы, в вольном воздухе, в виду лугов, лесов и болот.

Мироеды – порождение новейших времен; хотя и в дореформенное время этот термин существовал, но означал он совсем не то, что теперь означает. Собственно говоря, был и тогда мироед, в современном значении этого слова, но он ютился в области крепостного права и, конечно, не назывался мироедом. Затем, в среде государственных крестьян, мироедами прозывались «коштань», то есть – горлопаны, волновавшие мирские сходки и находившиеся на замечании у начальства, как бунтовщики; в среде мещан под этой же фирмой процветали «кулаки», которые подстерегали у застав крестьян, едущих в город с продуктами, и почти силой уводили их в купеческие дворы, где их обсчитывали, обмеривали и обвешивали. Наконец, были прасолы, ездившие по усадьбам и деревням и скупавшие и продававшие всякий сельский продукт. По тогдашнему простому времени, и этого было довольно.

Истинный мироед зачался одновременно с упразднением крепостного права, но настоящим образом он оперился, оформился и расцвел благодаря сивушной реформе.

Крестьянская реформа создала обстановку. Она дала деревенскому люду общину, но общину своеобразную, содержание которой исчерпывалось круговой порукой, облегчавшей исправный платеж податей и повинностей. Ни в каком другом отношении эта новоявленная община ни обеспечения, ни ручательства не представляла. Для захудалого мужика она еще могла бы представлять некоторое обеспечение в смысле более равномерного распределения денежных сборов; но ведь для подобных платежных единиц (им присвоивается кличка "нерадивых") существуют соответствующие меры побуждения, – стало быть, тут и без равномерности можно обойтись. Для мужика сильного, успешного «забраться» еще при крепостном праве, община представляла выгоду лишь в том случае, если рядом с нею шло порабощение более слабых платежных единиц. Человеку сильному и предприимчивому тяжело подчиниться общинным порядкам, которые прежде всего обезличивают его, налагают путы на всю его деятельность, вторгаются в его жизненную обстановку и вообще держат под угрозой "сравнения с прочими". Идеалы сильного деревенского мужика не особенно высоки; он крепко держится за них, употребляя на осуществление их весь запас хитрости, лукавства и умелости, который находится в его распоряжении. Чтобы достигнуть этого, надобно прежде всего ослабить до минимума путы, связывающие его деятельность, устроиться так, чтобы стоять в стороне от прочей «гольтепы», чтобы порядки последней не были для него обязательны, чтобы за ним обеспечена была личная свобода действий; словом сказать, чтобы имя его пользовалось почетом в мире сельских властей и через посредство их производило давление на голь мирскую. Затем, по сущей справедливости, не лишнее извлечь и осязательную выгоду из созданного таким образом привилегированного положения. Потому что, как бы ни были ослаблены узы его зависимости от общины, все-таки он числится членом ее, следовательно – привязан к известному месту, стеснен в передвижениях. Надо вознаградить себя за это. По зрелом размышлении, такое вознаграждение он может добыть, не ходя далеко, в недрах той «гольтепы», которая окружает его. Надо только предварительно самого себя освободить от пут совести и с легким сердцем приступить к задаче, которая ему предстоит и формулируется двумя словами: "Есть мир". И он решается на этот подвиг тем с меньшим затруднением, что слово «совесть» имеет для него значение, обнимающее очень ограниченный круг нравственных представлений самого ходячего свойства. Он рассуждает так: "Я выбрался из нужды – стало быть, и другие имеют возможность выбраться; а если они не делают этого, то это происходит оттого, что они не умеют управлять собою. Учить их некогда, да и незачем, а надо просто-напросто есть их, хотя бы ради

того, чтобы личный их труд не растрчивался на ветер, а где-нибудь производил накопление. «Где-нибудь» – это у него. Отсюда название: "миroeд".

Наицелесообразнейшее средство для удовлетворения алчности дала ему сивушная реформа. Она каждую деревню наградила кабаком и от кабатчика потребовала только соблюдения двух условий: приговора общества и нравственного ценза. Приговор общества мироеду достать очень легко: стоит только выставить «гольтепе» ведро или два (смотря по величине деревни) – и приговор готов. В большинстве случаев, кроме официального приговора, давался еще дополнительный, которым постановлялось: никому другому в деревне другого кабака не разрешать и никому из членов общества в кабаках соседних деревень не пить, под опасением штрафа, а пить исключительно у него, имярек, мироеда. Что же касается до нравственного ценза, то добыть его еще легче. Мужик он обстоятельный, исправный, никого явно не убил, не ограбил, а стало быть, и под судом не бывал. Он мироед – только и всего; но разве мироедство подлежит компетенции суда?

Дешевизна водки произвела оглушающее действие. «Гольтепа» массой потянулась в кабак. Как будто она сразу хотела вознаградить себя за долгий искус лишения продукта, который, ввиду ее одичалости, представлял для нее громадный соблазн. Но, сверх того, ей необходимо было забыться, угореть. Обида преследует ее всюду: и дома и на улице. Только кабак, в лице своего властелина, видит в нем равноправного потребителя и ограждает эту равноправность. Только в кабаке он сам-большой и может прикрикнуть даже на самого мироеда: "Ты что озорничаешь? наливай до краев!" И мироед не ответит на его окрик, а только ухмыльнется в бороду.

"Разоренье" вошло в полный фазис своего развития. Пропивались заработанные тяжким трудом деньги, и ежели денег не доставало – пропивалась самая жизнь. Рабочие орудия, скот, одежда, личный труд, будущий урожай – все потянулось к кабаку и словно пропадало в утробе кабатчика. А рядом с кабаком стояла лавочка, где весь деревенский товар был налицо, начиная от гвоздя до женского головного платка. Зачем запастись дома, зачем копить, коль скоро все в лавочке найти можно?! И денег не нужно – знай, хребтом шевели: мироед своего не упустит! он, брат, укажет, где и как шевелить!

И действительно: он укажет. Он знает каждого члена окружающей «гольтепы» и может во всякое время определить, кто чего стоит. Вот этот хребет еще долго выдержит, а вон тот уж надламывается. Первому можно без риска верить; что касается до второго, то не лишнее и остеречься. И изба, и клеть, и соха, и всякий гвоздь в избе – все на виду у мироеда, и все принимается им в расчет. Даже семейное положение: у кого сын на фабрике, у кого дочь в казачках: в крайнем случае, и они отработать долг могут. Мужичья изба словно фонарь – все в ней наружу. Вон она стоит, оголивши ребра, словно остов зверя. Там бревно из пазов вышло, тут – иструпело совсем; солома на крыше гниет, ветром ее истрепало, на корм скотине клочья весной повытаскали. Но и из этой груды полуистлевшего хлама пользишку извлечь можно. Вон он! вон! около телеги копошится! Э, да он, видно, остатки сена на воз навивать хочет!..

– Авдей, а Авдей! никак, ты сено-то в город везешь? – кричит мироед на всю улицу.

– Собрался было, Петр Матвеич, – робко откликается Авдей, чувствуя угрозу.

– Вези лучше ко мне – те же деньги, да и в город ездить не нужно. А коли искупить что в городе хотел, так и у меня в лавке товару довольно.

Авдей не прекословит. Вязанку за вязанкой он перетаскивает сено во двор к мироеду и получает расчет. В городе сено тридцать копеек стоит, мироед дает двадцать пять: "Экой ты, братец! поехал бы в город – наверное, больше пяти копеек на пуд истряс бы!"

– Чтой-то, Петр Матвеич, словно бы маловато весу у вас выходит! Надо быть, сена у меня тридцать пудов было, а у вас двадцать семь весы показывают...

– Чудак, братец, ты! разве я вешаю? стрелка вешает! Вон смотри стрелку-то – прямо стоит? А коли прямо – значит, верно.

– У Петра Матвеича весы живые: сколько ему захочется, столько и весят! – шутит сосед, тоже член мирской «гольтепы», случайно проходя мимо.

Пошутит прохожий, пошутит и сам продавец, пошутит и мироед – так на шутке и помиряется. Расчет будет сделан все-таки, как мироеду хочется; но, в добрый час, он и косушку поднести не прочь.

– Вот на этом спасибо! – благодарит Авдей, – добёр ты, Петр Матвеич! Это так только вороги твои клепят, будто ты крестьянское горе сосешь... Ишь ведь! и денежки до копеечки заплатил, и косушку поднес; кто, кроме Петра Матвеича, так сделает? Ну, а теперь пойти к старосте, хоть пятишницу в недоимку отдать. И то намеренся стегать меня собирался.

С утра до ночи голова мироеда занята расчетами; с утра до ночи взор его вглядывается в деревенскую даль. Заручившись деревенской статистикой, он мало того, что знает хозяйственное положение каждого однообщественника, как свое собственное, но может даже напомнить односельцу о таких предметах, о которых тот и сам позабыл.

– А помнишь, дядя Семен, рыдван у тебя тележный старенький был – где он теперь?

– Ах, прах те побери! – спохватывается дядя Семен, – и взаправду ведь был! где он теперь? Вот ловко находку нашел!

И бежит домой, обшаривает двор и наконец где-нибудь в пустом хлеву, где осенью поросята откармливали, находит остов тележного рыдвана.

– Нашел! – радуется он на всю улицу, – ишь ты, починить его мало-мальски, и опять за новый пойдет! И с чего это я его бросил!

– За новый он не пойдет – это ты вздор мелешь! – серьезно говорит Петр Матвеич, – и бросил ты его оттого, что он уже совсем изрешетился. А коли хочешь за него полштоф – бери!

– Получай! – соглашается дядя Семен, – что ж! кабы не ты, я и не вспомнил бы, что у меня на дворе клад есть. Ах, добёр ты, Петр Матвеич, уж так ты добёр, так добёр!

Дядя Семен доволен, потому что он сутки пьян. Петр Матвеич тоже доволен, потому что он почистил тележный рыдван, обил его изнутри рогожей, – и будет он ему еще долго служить наравне с новыми.

* * *

Мироеды, по родопроисхождению, бывают двух сортов: аборигены и наезжие.

Мироед-абориген ест своих однообщественников, а потому для него обязательна известная доля осмотрительности. Он зачался еще при крепостном праве и принадлежит к числу тех благомысленных мужичков, которыми так любили хвалиться помещики. Во всей округе он был известен под именем «министра», и помещик не только не препятствовал ему разжиться, но даже помогал, – участвовал в его торговых операциях или просто ссужал за проценты деньгами. Односельцев благомысленный мужик не трогал, так как это было бы в ущерб помещику; он вел свои обороты на стороне, посещая базары и ярмарки. И скупал и продавал все, что представлялось в данную минуту выгодным, не держась специальности; но в результате нередко образовывался значительный капитал. С падением крепостного права некоторые из «благомысленных» выписались в купцы, но большинство, по естественному ходу вещей, превратилось в мироедов. Такое прошлое, не представляя особенных задатков действительной благомысленности, все-таки свидетельствовало о недюжинном уме и способности извлекать пользу из окружающей среды и тех условий, в которых она живет. И точно: никто зорче его не присмотрится, никто основательнее не взвесит. Он непременно возьмет «свое», но возьмет вовремя и именно столько, сколько можно.

Выше я сказал, что он напомнит дяде Семену о существовании заброшенного тележного рыдвана, но одновременно с этим он прочтет дяде Авдею наставление, что вести на базар последнюю животину – значит окончательно разорить дом, что можно потерпеть, оборотиться

и т. д. Вообще, где следует, он нажмет, а где следует, и отдохнуть даст. Дать мужику без резону потачку – он нос задерет; но, с другой стороны, дать захудалому отдохнуть – он и опять исподволь обрстет. И опять его стриги, сколько хочется.

На этом уменье – взять вовремя и сколько можно – основан весь расчет мироеда-аборигена. «Гольтепа» мирская знает это и не скрывает от себя, что от помещика она попала в крепость мироеду. Но процесс этого перехода произошел так незаметно и естественно и отношения, которые из него вытекли, так чужды насильственности, что приходится только подчиниться им. И действительно, «гольтепа» подчинилась, и не только в силу тяготеющего над ней рока, но и не без некоторой доли сознательности. Она понимает, что к ней присосалось нечто чужеродное, благодаря которому она постепенно опускается все глубже и глубже, но не чувствует тисков, не нащупывает дна. Существовая лишь в качестве живого рабочего инвентаря, она только то и имеет, что в обрез необходимо для поддержания этого инвентаря в надлежащей исправности.

Что касается до сельскохозяйственных оборотов мироеда-аборигена, то он ведет свое полеводство тем же порядком, как и "хозяйственный мужичок". Он любит и холит землю, как настоящий крестьянин, но уже не работает ее сам, а предпочитает пользоваться дешевым или даровым трудом кабальной «гольтепы». Сколько находится у него в распоряжении этого труда, столько берет он и земли. Он не гонится за большими сельскохозяйственными предприятиями, ибо знает, что сила его не тут, а в той неприступной крепости, которую он создал себе благодаря кабаку и торговым оборотам. Так что все его требования относительно земли, как надельной, так и арендуемой, ограничиваются тем, чтоб результаты ее производительности доставались ему даром, составляли чистую прибыль.

Кроме мироеда-аборигена, в деревнях нередко встречается мироед наезжий. Последний является на место уже вполне свободным от тех сложных соображений, которые от времени до времени волнуют мироеда-аборигена. Он, собственно говоря, человек выморочный. Не будучи членом общины, он не чувствует себя связанным ни с ее интересами, ни с ее людом. В его глазах община есть объект для эксплуатации – и ничего больше. Он берет с этого объекта все, что может, берет нагло, ни перед чем не задумываясь и зная, что сегодня он тут, а завтра – в ином месте. Быть может, он присасывается не так солидно, как местный абориген, но зато все его прижимки наглядны, бесстыдны и ненавистны. Мироед-абориген возбуждает страх; мироед наезжий – ненависть. Он сам это отлично понимает и потому находится в вечном трепете красного петуха.

Наезжий мироед – разночинец; это или бывший дворовый человек, или мещанин из соседнего города, соблазнившийся барышами, которые сулила сивушная реформа, или, наконец, оставшийся без места, по случаю реформ, чиновник. Иногда (впрочем, как редкое исключение) мироедом является и сам бывший помещик.

Бывший дворовый человек непременно возлежал на лоне у своего помещика. То есть служил камердинером, выполнял негласные поручения, подлаживался к барским привычкам, изучал барские вкусы и вообще пользовался доверием настолько, что имел право обшаривать барские карманы и входить, в отсутствие барина, в комнату, где находился незапертый ящик с деньгами. Он воровал господские сигары и потчевал ими друзей, ел с господского стола, ходил в гости в господском платье и вообще получил вкус к барской жизни. Друзья барина величали его по имени и по отчеству; некоторые занимали у него деньги и жали ему руку.

Ежели барин вел картежную игру, то камердинеру представлялась доходная статья настолько значительная, что устраняла всякие подозрения относительно его честности. При картах – вино, бутылки нескитанные; наворачиваются счастливые игроки, которым и сто рублей выбросить на водку расторопному лакею ничего не стоит. Правда, что он ночей не спал, ног под собой не слышал, но зато у него скопился настолько значительный капитал, что он, уже при первом слухе о предстоящей эмансипации, начал тосковать о самостоятельности. И

когда роковой час наступил, то он, дав барину время разделаться с крестьянами, в самый день получения выкупной ссуды бросил его на произвол судьбы.

– Наворовал довольно? – внезапно прозрел барин.

– Послужил – и будет, – отвечал скромно вчерашний доверенный слуга.

И что же! несмотря на прозрение, барина сейчас же начала угнетать тоска: "Куда я теперь денусь? Все был Иван Фомич – и вдруг его нет! все у него на руках было; все он знал, и подать и принять; знал привычки каждого гостя, чем кому угодить, – когда все это опять наладится?" И долго тосковал барин, долго пересчитывал оставшуюся после Ивана Фомича посуду, белье, вспоминал о каких-то исчезнувших пиджаках, галстуках, жилетах; но наконец махнул рукой и зажил по-старому.

Между тем Иван Фомич уж облюбовал себе местечко в деревенском поселке. Ах, хорошо местечко! В самой середке деревни, на берегу обрыва, на дне которого пробился ключ! Кстати, тут оказалась и упала изба. Владелец ее, зажиточный легковой извозчик, вслед за объявлением воли, собрал семейство, заколотил окна избы досками и совсем переселился в Москву.

Иван Фомич выставил миру два ведра и получил приговор; затем сошелся задешево с хозяином упалой избы и открыл "постоялый двор", пристроив сбоку небольшой флигелек под лавочку. Не приняв еще окончательного решения насчет своего будущего, – в голове его мелькал город с его шумом, суетою и соблазнами, – он устроил себе в деревне лишь временное гнездо, которое, однако ж, было вполне достаточно для начатия атаки. И он повел эту атаку быстро, нагло и горячо.

В сельскохозяйственном смысле действия Ивана Фомича имеют тот же временный характер. Он охотно снимает в краткосрочную аренду земельные участки, в особенности запущенные старые пашни, поросшие мелким лесом; поросль выжжет, землю распашет "за благодарность", снимет хлеб-другой, ограбит землю и уйдет. Еще охотнее он занимается лесным делом. Купит лесочек под вырубку, срубит всё до последней годовалой березки, а голое место отдаст в кортому под пастбу скота. Так что, когда, по окончании арендного срока, вырубка возвратится к владельцу, то последний может быть уверен, что тут уж никогда даже осинка не вырастет.

И благо Ивану Фомичу, что он устраивается в деревне лишь временно. Деревенский постоялый двор для него только школа, в которой он приобретает знания и навык, необходимые для грабительства в более широких размерах. Но, кроме того, годы, проведенные в деревне, полезны и в том отношении, что они дают время забыть его лакейское прошлое. В сущности, он ни на минуту не спускает глаз с Петербурга и уже видит себя настоящим торговцем, владельцем, на первое время, хоть табачного магазина. И кто знает, что ему сулит будущее? Быть может, он будет членом общественного управления, членом санитарной комиссии, водопроводной субкомиссии и проч. – вообще, необходимою спицей в колеснице. Может быть, на груди его будет блистать медаль, а может быть...

О прочих наезжих мироедах распространяться я не буду. Они ведут свое дело с тою же наглостью и горячностью, как и Иван Фомич, – только размах у них не так широк и перспективы уже. И чиновник и мещанин навсегда навекуют в деревне, без малейшей надежды попасть в члены суб-суб-комиссии для вывозки из города нечистот.

Подобно хозяйственному мужику, сельскому священнику и помещику, мироед всю жизнь колотится около крох, не чувствуя под ногами иной почвы и не усматривая впереди ничего, кроме крох. Всех одинаково обступили мелочи, все одинаково в них одних видят обеспечение против угроз завтрашнего дня. Но поэтому-то именно мелочи, на общепринятом языке, и называются «делом», а все остальное – мечтанием, угрозою...

II. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

1. СЕРЕЖА РОСТОКИН

Русскому читателю достаточно известно значение слова «шалопай». Это – человек, всем существом своим преданный праздности; это – идол портных, содержателей ресторанов и коко-ток, покуда не запутается в неоплатных долгах. Предвидя неминуемое банкротство и долговую тюрьму, он нередко делается вором, составителем фальшивых документов и является действующим лицом в крупных уголовных процессах. Но иногда благополучно ускользает от скандала, исчезая куда-нибудь в деревню на приятельские хлеба. Процветает он исключительно в больших городах.

Так, впрочем, было в сравнительно недавнее время, когда шалопай был только бесполезен и оскорблял нравственное чувство единственно своею ненужностью. Без думы, не умея различить добра от зла, не понимая уроков прошлого и не имея цели в будущем, он жил со дня на день, веселый, праздный и счастливый своею невежественностью. Просыпался утром поздно и посвистывал; сидел битый час или два за туалетом, чистил ногти, холил щеки, вертелся перед зеркалом, не решаясь, какой надеть жилет, галстук, и опять посвистывал. В два часа садился в собственную эгоистку и ехал завтракать к Дюсо; там встречался со стаею таких же шалопаев и условливался насчет остального дня; в четыре часа выходил на Невский, улыбался проезжавшим мимо кокоткам и жал руки знакомым; в шесть часов обедал у того же неизменного Дюсо, а в праздники – у *ma tante*;¹¹ вечер проводил в балете, а оттуда, купно с прочими шалопаями, закатывался на долгое ночное бдение туда же, к Дюсо. Говорил мало, мыслил еще меньше, ибо был человек телодвижений по преимуществу.

Так протекала эта бездумная жизнь со дня выхода из «заведения» вплоть до седых волос. Надевши седые волосы, шалопай впервые задумывался. Он еще продолжал гулять в урочный час по Невскому, распахнув на груди пальто в трескучий мороз, но уже начинал чувствовать некоторые телесные изъязны. То ногу волочить приходится, то лопатка заноеет, да и руки начинают трястись (стакан с вином рискует расплескаться, покуда донесет до рта). Кроме того, вследствие усиленных настояний содержателей ресторанов, портных и проч., ему пришлось рассчитаться. Кое-что ему простили, но все-таки вышла сумма настолько изрядная, что он и сам не подозревал. Рассчитавшись, он увидел себя в обладании такой скромной фортуны, что продолжать жить по-прежнему оказывалось немислимым. Но, раз попавши в праздничную колею, он уже не имел возможности сойти с нее, даже если бы хотел. Он не знал ничего другого; ни ум, ни чувство, ни воображение – ничто не говорило ему об иной жизни. Тогда он или делался героем уголовных процессов, или же из шалопаю деятельного постепенно превращался в скромного *riche assiett'a*.¹² Пристраивался к кружку только что вылупившихся шалопаев и менторствовал в нем. Пил и ел на счет молодых людей, рассказывал до цинизма отвратительные анекдоты, пел поганые песни, паясничал; словом сказать, проделывал все гнусности, которые радуют и заставляют заливаться неистовым хохотом жеребьячи сердца. Наконец, наступало еще более трудное время. Его щелкали в нос, мазали по лицу селедкой, заставляли брать в рот сигару зажженным концом, выпивать подлую смесь опивков и проч. И хохотали при этом, хохотали до слез. Затем, что дальше, то труднее и труднее. Он уже не смел войти в ту комнату, где раздавался хохот его неблагодарных учеников, и скромно становился у буфета, где татарин-буфетчик, из жалости, наливал ему рюмку водки и давал бутерброд задаром. Постоявши в буфете, он,

¹¹ тетушки (франц.)

¹² прихлебателя (франц.)

по привычке, отправлялся на Невский и подолгу застаивался перед витринами братьев Елисеевых, любясь выставкой гастрономических новинок. Желудок страстно ныл, зубы машинально жевали; наконец он не выдерживал, нащупывал в кармане рублевку и покупал четверть фунта икры. Это был его обед. Измаявшись и измучившись, он как-то внезапно совсем исчезал. В одно прекрасное утро в газетах появлялся его некролог:

"На днях умер Иван Иванович Обносков, известный в нашем светском обществе как милый и неистощимый собеседник. До конца жизни он сохранил веселость и добродушный юмор, который нередко, впрочем, заставлял призадумываться. Никто и не подозревал, что ему уж семьдесят лет, до такой степени все привыкли видеть его в урочный час на Невском проспекте бодрым и приветливым. Еще накануне его там видели. Мир праху твоему, незлобивый старик!"

Таков был шалопай недавнего прошлого; таким же остался он и теперь, ежели взглянуть на него исключительно со стороны его внутреннего ничтожества. То же праздное любопытство, та же бездумность, то же бесцельное прожигание жизни в чаду ресторанов, в плену у портных и кокотов. Но к этому прибавилась одна черта, которая делает его не только нравственно-оголтелым, но и вредным. Он заразился честолюбием и пытается проникнуть в тайны внутренней политики, которая, таким образом, делается одним из видов высшего шалопайства. Mon oncle и ma tante¹³ успели его убедить, что нынче такие люди нужны, и он охотно поверил им. Он шляется уже не по одним ресторанам, но заглядывает и в канцелярии и предлагает свои услуги. Иногда даже, в самом разгаре оргии, он задумывается и начинает бормотать что-то гневное. Он недоволен, он утверждает, que tout est a refaire,¹⁴ и инстинктивно грозит пальцем в пространство. Спросите его: кто тебя, дурашка? кому ты грозишь? – он, наверное, повторит ту же стереотипную фразу: tout est a refaire. Он слышал, что эта фраза в ходу на жизненном рынке, что она сама по себе представляет залог, и чувствует себя взбудораженным ею, ждет, что она даст ему нечто в будущем. Mon oncle и ma tante, с своей стороны, ходатайствуют. И очень часто с их помощью, а также при содействии других, уже успевших заручиться, шалопаяев, он обретает желаемое сокровище, так что старость не застает его врасплох, как шалопая прежних времен.

Таков именно герой настоящего этюда, Сережа Ростокин.

Он, так сказать, шалопай высшей школы. Ему не больше двадцати пяти лет, и еще памятна скамья «заведения», в котором он воспитывался и обучался кратким наукам. Он имеет хорошие материальные средства, живет в удобной квартире, держит собственный экипаж, ходит в безукоризненном белье и одевается у лучшего портного. Всегда душистый, свежий и бодрый, он приводит в умиление кокотов, к вящей зависти дамочек и девиц, посещающих салоны mon oncle и ma tante. Последние возлагают на него большие надежды (они бездетны, и имение их должно перейти Сереже) и исподволь подыскивают ему приличную партию; но он покуда еще уклоняется от брачных оков. Вообще он появляется в салонах лишь мельком и предпочитает проводить время в ресторанах, в обществе кокотов, у которых и телодвижения свободнее, и всегда отыщется на языке le mot pour rire.¹⁵

Заглянемте утром в его квартиру. Это очень уютное гнездышко, которое француз-лакей Шарль содержит в величайшей опрятности. Это для него тем легче, что хозяина почти целый день нет дома, и, стало быть, обязанности его не идут дальше утра и возобновляются только к ночи. Остальное время он свободен и шалопайничает не плоше самого Росткина.

До десяти часов в квартире царствует тишина. Шарль пьет кофе и перемигивается через двор с мастерицами швейного магазина. Но в то же время он чутко прислушивается.

¹³ дядюшка и тетушка (франц.)

¹⁴ что все надо переделать (франц.)

¹⁵ забавное словечко (франц.)

Бьет половина одиннадцатого; Шарль осторожно стучится в дверь Сережиной спальни. Слышится позевывание, потягивание, и наконец раздается громкое: *entrez!*¹⁶ Начинается туалет...

Я не буду описывать подробностей и тайн этого сложного процесса: не имею для этого ни достаточных данных, ни надлежащего искусства. В спальне раздается то посвистывание, то тихое мурлыканье – это Сережа вспоминает виденное и слышанное накануне. Он сидит перед зеркалом, препарирует себя и улыбается. Именно только улыбается, улыбается безотнositельно, без всякой мысли. В голове его пробегают какие-то обрывки без связи и последовательности, что так, в сущности, он, если можно так выразиться, не сознает себя сущим. Хорошо ему – вот и всё. Он, слава богу, проснулся, и впереди его ждет совсем белый день, без точек, без пестрины, одним словом, день, в который, как и вчера, ничего не может случиться. А ежели и предстоит какая-нибудь особенность, вроде, например, привоза свежих устриц и заранее данного обещания собраться у Одинцова, то и эта неголоволомная подробность уже заранее занесена им в *carnet*,¹⁷ так что стоит только заглянуть туда – и весь день как на ладони. Во всяком случае, думать ему нет надобности, а можно только улыбаться. Улыбается он и без повода, просто самому себе, и случайно припоминая какую-нибудь легонькую проказу, в которой он был действующим лицом. Покуда он улыбается и препарирует себя, Шарль летает как муха, приготовляя кофе и легкий завтрак и раскладывая по стульям столовой несколько пар платья для выбора.

Подкрепившись и решив вопрос о панталонах, галстухе и проч., Сережа начинает одеваться. Опять посвистывание, опять улыбки и опять ни одной мысли. Время летит незаметно среди колебаний и переговоров с Шарлем, раздается облегчительное: "*Enfin, me voici en règle!*"¹⁸ – и великий процесс одевания кончен. Часы показывают два; Сережа надевает шляпу, натягивает перчатки и в последний раз останавливается перед зеркалом. Тут он осматривает себя с ног до головы, сзади, с боков, и, довольный собой, выходит на крыльцо, где уж его ожидает экипаж. Он едет... куда?

Старозаветный шалопай ответил бы на этот вопрос:

"Мой кучер уж знает", – и приехал бы прямо к Дюсо. Сережа отступил от завещанного предания и прежде всего отправляется... в канцелярию! Здесь он справляется у швейцара: "Петр Николаич приехал?" – и, выслушав ответ: "Сейчас приедут, курьер уж привез портфель", – направляет шаги в помещение, где ютятся чиновники. Накурено, насорено, а по местам и наплевано. Но Сережа не формализируется этим; он понимает, что находится здесь не для того, чтоб рвать цветы удовольствия, а потому, что обязан исполнить свой «долг» (*un devoir a remplir*). Канцелярские чиновники сидят по местам и скребут перьями; среднее чиновничество, вроде столоначальников и их помощников, расселось где попало верхом на стульях, курит папиросы, рассказывает ходящие в городе слухи и вообще занимается празднословием; начальники отделений – читают газеты или поглядывают то на дверь, то на лежащие перед ними папки с бумагами, в ожидании Петра Николаича.

– Скоро ли же вы с этим безобразием покончите? – спрашивает Сережа, поочередно пожимая руки начальникам отделений, – эти суды, это земство, эта печать... ах, господа, господа!

– Прытки вы очень! У нас-то уж давно написано и готово, да первый же Петр Николаич по полугоду в наши проекты не заглядывает. А там найдутся и другие рассматриватели... целая ведь лестница впереди! А напомним Петру Николаичу – он отвечает: "Момент, любезный друг, не такой! надо момент уловить, – тогда у нас разом все проекты как по маслу пройдут!"

¹⁶ войдите! (франц.)

¹⁷ записную книжку (франц.)

¹⁸ «Ну, вот я и готов!» (франц.)

– Да; но согласитесь, что ждать ужасно! Все кругом рушится, tout est a refaire, – а тут момент уловить не могут!

– Э! проживем как-нибудь. Может быть, и совсем момента не изловим, и все-таки проживем. Ведь еще бабушка надвое сказала, что лучше. По крайней мере, то, что есть, уж известно... А тут пойдут ломки да переделки, одних вопросов не оберешься... Вы думаете, нам сладки вопросы-то?

Собеседник меланхолически посматривает в окне, как бы не желая продолжать разговора о материи, набившей ему оскомину. Вся его фигура выражает одну мысль: наплевать! я, что приказано, сделал, – а там хоть черт родись... надоело!

Но Сережа совсем не того мнения. Он продолжает утверждать, que tout est a refaire и что настоящее положение вещей невыносимо. Картавя и рисуясь, он бормочет слова: "суды, земство... и эта шутовская печать!.. ах, господа, господа!" Он, видимо, всем надоел в канцелярии; и так как никто не говорит этого ему в глаза, то он остается при убеждении, что исполняет свой долг, и продолжает надоедать.

Наконец в соседней комнате раздается передвиганье стульев и слышатся торопливые шаги. Это спешит сам Петр Николаич, предшествуемый курьером.

Сережа обдергивается, приосанивается и приказывает доложить о себе.

– Ах, шут гороховый! опять задержит! – ропщут начальники отделений.

В кабинете между тем происходит сцена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.